

Мой род насчитывает пять поколений «сидельцев». Так уж сложилось. Началось все с Николая I в 1850 году, когда один из моих далеких предков был направлен на поселение в Тобольск. (За что, смею пошутить, весьма признателен самодержцу Николаю Александровичу). Иначе много бы в моей судьбе сложилось иначе. Кстати говоря, предок мой оказался в одном этапе с Ф. М. Достоевским, но в Тобольске пути их круто разошлись.

И женился тот ссыльный-поселенец на дочери такого же ссыльного. И нарожали они семь или восемь детей. Таких же непокорных и свободолюбивых, а потому чему удивляться, что черта эта передалась их детям, а по большому счету, всему нашему роду. Так что через определенный срок подвергались арестам, а кто и заключению, все остальные мои предки, как по заказу, включая отца и деда.

Но, что интересно, сам я никогда не ощущал на себе клейма ссыльных пращуров, может, потому, что едва ли не половина моих земляков-ровесников пережили примерно то же самое.

Уже потом, став чуточку мудрее, принялся размышлять и взвешивать: столь ли велики были на самом деле грехи моих предков, и могла ли их судьба сложиться иначе? Наверное, могла бы, будь они не столь своевольны и независимы. Да еще, если бы законы моей отчизны были не столь суровы, когда за малейший проступок, ослушание начальства ты мог оказаться на скамье подсудимых. Так или иначе, но дед и отец были реабилитированы, но... годы, проведенные в заключении, наложили на них свой не проходящий с годами отпечаток. Передался ли мне их настрой к власти и ее верховным правителям – несомненно. Иначе и быть не могло.

Но, если разобраться, большая часть моего послевоенного поколения жила и вырастала под прессом того партийного уклада, считавшегося единственно правильным и верным.

Главное же преступление тех властей вижу в том, что был подчистую разломан, распылен прежний жизненный уклад миллионов семей, строившийся и слагавшийся веками. Прервались родовые связи, рухнули не только дворянские династии, уничтожено духовенство, промышленники и предприниматели всех мастей и калибров, но искорежили и крестьянский быт, сделав состоятельных, работающих хозяев изгоями, заронив искру зависти и ненависти к чужому добру, а значит, и к самому человеку. Такого разгула всеобщей ненависти людей друг к другу Россия до сей поры не знала...

Часть этого зла вылилась и на наше послевоенное поколение, а уж кто и как его воспринял, не мне судить. И сейчас это чувство зависти живет где-то рядом, потому как разобщение наше не закончилось и многие, ой, многие ощущают себя отколотыми, как малые щепочки, отброшенными от общегосударственного древа. Со щепой легче управляться, чем с могучим стволом, соединенным и сплоченным природой в единое целое. Потому и пришло на ум название: «щепка», поскольку все мы по той или иной причине в разное время лишились этих связей и теперь, особенно под старость, остро чувствуем одиночество и ненужность. Так это или нет, решать читателю. Дело автора – высказать свою точку зрения и совсем не обязательно, что все и каждый должны быть с ней согласны...

...Заранее предвижу, что, прочтя написанные мной воспоминания, большинство читателей, особенно моего поколения, отнесутся к ним с неприязнью. Зачем ворошить старое, почти сгоревшее. Поздно... Лучше бы о чем-нибудь пафосно-бравурном и веселом написал. Да, у нас принято говорить о былом с ностальгической ноткой в голосе. Так уж мы воспитаны и приучены быстро забывать обиды и унижения. Удивительная страна, поразительные люди! И я в том числе. Точно такой же. Ничем не лучше и не хуже. Разве что памятнее во всем, что касалось несправедливости...

ВСТУПЛЕНИЕ

ЩЕПКА

Мужик с топором в руке тяжело пробирался по снежной целине, держа направление на сосновый бор, стоявший дружной, почти без просветов стеной в стороне от санной дороги. Сосны были стройны, с густой кроной и правильными геометрически очертанными цилиндрическими стволами. Вольные деревья, не обремененные никакими заботами, кроме как пополнением своих рвущихся вверх, ввысь соков. И сейчас, глядя с высоты своего могучего роста на маленького мужичка с топором в руках, они и не догадывались о его замыслах.

А тот, добравшись до кромки лесного массива, нацелился на стоящую особняком сосну, задрал голову вверх, прищурился, обошел ее вокруг, хлопал, словно свою бабу, по крутому округлому боку и одобрительно крикнул. «Пойдет... – сказал сам себе, – пойдет для начала...» Затем он скинул на снег полушубок, двумя руками взял хищно изогнутое топориче, прицелился чуть выше комля и неожиданно вонзил стальное лезвие

своего орудия в ствол. Дерево даже не вздрогнуло, не почувствовав угрозы для себя, и лишь небольшие комочки снега посыпались с ветвей вниз, на голову мужика, словно хотели предупредить о чем-то... Но тот и не заметил снежной пыли, поскольку раз за разом вонзал топор в ствол, делая тонкий, но смертельный для дерева заруб вначале на одной стороне, а потом точно такой же с другой. От каждого рубящего удара из всё увеличивающейся расщелины вылетали тонкие пласты пока еще живой сосны и падали здесь же рядом на снег. Щепа... Она неизбежна, когда железный инструмент, находящийся в человеческих руках, соприкасается с деревом.

Дерево же терпеливо сносило волю человека, задумавшего пустить в дело красавицу-сосну, судьба которой была предрешена с самого ее рождения. Когда зарубки с той и другой стороны почти сошлись, мужик вырубил шест, уперся им в ближний сук, поднатужился и... по всему стволу пробежала судорога, конвульсия, он начал клониться, сперва чуть заметно, а потом все шибче и шибче и покорно, громко ухнув, рухнул на снег. Мужик же, чуть передохнув и выкурив сигарку, прошелся вдоль ствола, обрубил ветки, торчавшие местами сучья, а потом и вершинку, словно снял скальп со своей жертвы. Обезображенный ствол продолжал оставаться красивым, хотя и был оголен до неприличия, но уже не был деревом, став бревном, обрубком, сутунком...

Мужик же тем временем привел по натоптанному следу лошадь с санками, забросил, тяжело и надрывно пыхтя, на санки ствол, крепко закрепил его пеньковой веревкой и понукнул лошадку. Та дернулась, налегла на передние ноги и, мелко ступая, потащила санки к дороге. На снегу же остались некогда разлапистые ветви и множество свежесрубленной щепы, которая летом почернеет под солнцем, потом покроется слоем пыли, и пройдет год, а может, чуть больше, и от нее не останется и следа.

* * *

...Судьба каждого из нас чем-то похожа на участь предназначенных для строительных или иных дел деревьев. Кто-то там, свыше, распоряжается достигшим юного возраста подростком и, изъязв из привычной домашней среды, обрабатывает на свой манер, при этом делая ребенку больно, оставляя неизгладимые шрамы-зарубины в его душе и кучу щепы, как следствие педагогическо-воспитательного процесса.

Ставши взрослым, человеком тот обычно забывает о тех частичках, что у него отняли, чтоб сделать иным, пригодным для общественной деятельности существом. Иные вообще не помнят, какие изменения они претерпели, пока их готовили к иной жизни. А кто-то те щепочки в воспоминаниях своих хранит до конца жизни. Словно первый срезанный завиток волос своего первенца. Но каждый из нас вынужден был пройти через процесс правки, обработки, подгонки под общий стандарт. Без этого воспитательный процесс в нашей стране был невыносим. И я не верю тем, кто считает, что с ним обошлись бережно и правильно. Без боли подобное преобразование не происходит.

Потому и назвал свой небольшой сборник новелл «Щепа и судьба», поскольку те мои давние щепочки-воспоминания до сих пор живы и не утрачены, и хочу, чтоб о них узнали те, кому они будут интересны.

ТОВАРИЩ СТАЛИН, ВЫ БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ...

Товарищ Сталин, вы большой ученый –
в языкознание знаете вы толк,
а я простой советский заключенный,
и мне товарищ – серый брянский волк.
За что сижу, поистине не знаю,
но прокуроры, видимо, правы,
сижу я нынче в Туруханском крае,
где при царе бывали в ссылке вы.
В чужих грехах мы с ходу сознавались,
этапом шли навстречу злой судьбе,
но верили вам так, товарищ Сталин,
как, может быть, не верили себе.
И вот сижу я в Туруханском крае,
здесь конвоиры, словно псы, грубы,
я это все, конечно, понимаю
как обостренье классово́й борьбы.
То дождь, то снег, то мошкара над нами,
а мы в тайге с утра и до утра,
вот здесь из искры разводили пламя –
спасибо вам, я греюсь у костра.
Вам тяжелей, вы обо всех на свете
заботитесь в ночной тоскливый час,
шагаете в кремлевском кабинете,
дымите трубкой, не смыкая глаз.
И мы нелегкий крест несем задаром
морозом дымным и в тоске дождей,
мы, как деревья, валимся на нары,
не ведая бессонницы вождей.
Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
и в кителе идете на парад...
Мы рубим лес по-сталински, а щепки –
а щепки во все стороны летят.
Вчера мы хоронили двух марксистов,
тела одели ярким кумачом,
один из них был правым уклонистом,
другой, как оказалось, ни при чем.
Он перед тем, как навсегда скончаться,
вам завещал последние слова –
велел в ево́нном деле разобраться
и тихо вскрикнул: «Сталин – голова!»
Дымите тыщу лет, товарищ Сталин!
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
я верю: будет чугуна и стали
на душу населения вполне.

В то время я еще не знал этих строк, так и хочется добавить – «бесмертных», тем более их автора. Но когда в перестроечные годы книги Ю. Алешковского стали появляться на московских привокзальных лотках, подземных переходах (в магазины их поначалу не желали допускать), купил и перечитал почти все. Не скажу, что он (Юз Алешковский) оказался близок мне по стилистике и образу подачи, но... что-то в нем было магнетически-притягательное. Судить не берусь. Во всяком случае меня с ним объединяло отношение к недавнему прошлому и личностям вождей того времени.

...Так повелось, но в моей семье среди старшего ее поколения сразу не было людей из числа «партийцев». И, дай Бог, не будет. Есть на то причины. Не отнесу эту беспартийность ни к особым заслугам или прямому несогласию с линией той самой «партии». Но любым руководством тогдашняя беспартийность воспринималась как вызов обществу, строю и вождям.

Иметь собственное волеизъявление, жить по собственному разумению и не примыкать к верхушке власть имущих, в прямом смысле вершивших судьбы своих подчиненных, какой же нормальный человек мог по доброму желанию отказаться войти в этот круг избранных! Только враг. Причем скрытый. Беспартийность считалась чем-то наподобие клейма, черной метки, и карьерного роста те «отщепенцы» не имели. За редким исключением. Но что интересно, насколько помню, у моих беспартийных родственников были и друзья, причем немало. И они наверняка не принимали существующую власть партийной элиты, оставаясь, как шутили, сочувствующими. Но вот кому они сочувствовали, то большой вопрос... А потому какой-то там изоляции в своем юном возрасте, да и потом не ощущал и лишь много позже стал задумываться о взаимоотношениях моих дальних и близких родственников с существующей властью. И по крупинкам собирал, воспроизводил картину послевоенной поры.

...Случилось это незадолго до начала моего школьного образовательного процесса. Папа к тому времени уже отсидел положенные два года в нашей же городской «крытке» (каторжной тюрьме) за то, что, будучи капитаном, изловил у себя на пароходе вора и не сдал его властям, а несколько иным способом объяснил тому, что воровать нехорошо. Тот оказался человеком опытным и заявил «куда следует». Когда судно вернулось из рейса, на тобольском причале его уже ждали люди в форме. Ему припаяли два года за самоуправство и недоносительство. По известной статье. А ему шел всего-то двадцать третий годок...

«Большой ученый» представился 5 марта 1953 года, а папа получил справку о своем освобождении в аккурат 8 марта того же года. Уж не знаю, совпадение такое знаменательное вышло или подпал под амнистию. Но и та и другая дата для меня – два слитых воедино праздника.

Так вот, именно в эти годы, когда шло решение на всех уровнях, действительно ли покинувший нас (похоже не навсегда, иным чудиться, что он и сейчас где-то рядом бродит и только ждет своего часа), не только большой ученый, но еще и гений всех времен и народов, достоин

именоваться «великим». И стоит ли продолжать выбранный им курс, или... Все эти прения и нескончаемые восхваления транслировались с утра до вечера через висевший в каждом доме репродуктор. Этаким облепленный черной бумагой диск был прикреплен в углу, где раньше было принято держать образа.

И какая-то из этих фраз особенно врезалась мне в память, а потому, желая продемонстрировать свою политическую грамоту и осведомленность, я ходил по комнате, ожидая, кого первым можно ею ошарашить, раз за разом повторяя дикторские слова и, конечно, без лишней скромности восхищаясь при том собственной памятью.

Первым в комнату вошел папа. Он, как обычно, обедал дома, а потому спешил и не особо желал слушать, чего я там припас к его приходу. Но мне непременно требовалось высказаться и передать, что мне удалось услышать по радио. А потому кинулся к нему с превеликой радостью и повторил врезавшиеся в память дикторские слова: «Папа, а товарищ Сталин, сказал...» Договорить заготовленную фразу отец мне просто не дал. Его словно током ударило, когда он услышал это имя, а потому бестактно перебил меня и задал ехидный вопрос: «И давно он тебе стал товарищем?»

Я, естественно, растерялся, потому как смысл слова «товарищ» был мне хорошо известен. Но тогда что же получалось?.. Я быстро сообразил, в чем подковыка отцовского вопроса. Получалось, человек, о котором так часто говорили с утра и до позднего вечера по радио (однако в кругу семьи мне ни разу не приходилось слышать от кого-то из близких его имени), отцу «не товарищ»?! А как же мне быть? И что из того следует? Получается, что он далеко не для всех «товарищ»?! Например, для моего отца, а значит, само собой, и для меня тоже.

То была первая в моей жизни политинформация, смысл которой был воспринят мной раз и навсегда, и менять свое отношение к этому, с позволения сказать, человеку, хотя, на мой взгляд, ни одно из обычных человеческих качеств ему было попросту не присуще, не собираюсь до конца своих дней. Какие бы аргументы в его защиту и исключительность ни приводили. О почитании и уважении родителей, а следовательно, их опыту и образу мыслей, предписано еще с ветхозаветных времен. И мне ли, сыну своих родителей, оспаривать его...

Вот потому, сколько бы сейчас отдельные «товарищи» ни били себя в грудь, доказывая о победах и заслугах «вождя всех народов», для меня товарищем он никогда не станет, как и все те, кто считает его таковым.

И СОВСЕМ ОНА НЕ КОЛЮЧАЯ... ЭТА ПРОВОЛОКА...

Родословные корешки моего деда крепко зацепились за древние вятские земли, и хотя родители его покинули родную Кукарку задолго до его рождения, но земля та давала знать о себе и за тысячу верст от места всхода семени с нее увезенного. А отлична та земля тем, что каждый вятский мужик с топором обходится гораздо сноровистей, чем, скажем, с ложкой. Да та же вятская игрушка, она едва ли не всему свету известна. Что тут еще скажешь. И потому работники вятские

хаживали пешим ходом на заработки по всей необъятной матушке Руси, оставляя свои затеси едва ли не в каждом сельце, куда их судьба забрасывала. Бывало, что и до сибирских острогов и зимовий добирались.

Вот и дед мой оказался в самую разбитную пору гражданской войны в Забайкалье, где сумел-таки закончить горное училище и обзавестись дипломом горного инженера, а в придачу – спеца по землеустроительным и топографическим работам. Тоже строил, только уже вычерчивая разные земельные чертежи и планы. И зашагал он широко с геодезической рейкой на одном плече и теодолитом – на другом. Сперва по Уралу, потом по Сибири, а там и на Ямале оказался уже женатым, при детях и без постоянного угла. Один год в один район направят, а как все работы проведет, еще дальше. И так пока до самого берега Карского моря не дошагал, а дальше уже пешему человеку хода нет...

Может потому, в жуткую пору репрессивного беспредела и миновала его лихая судьба, заканчивающаяся обычно коротким штампом в личном деле: «без права переписки». Вроде бы пронесло. А там и война с Германией за власть советскую. Угодил не в штрафбат, а на «трудо-вой фронт», или как его еще называли «трудармия». Где-то под самым Питером шанцевым инструментом орудовал. Тоже штрафники, только оружия им в руки не давали, а лишь кайло или лопату. Обычно в такие части брали репатриированных немцев с Поволжья или иных политически неблагонадежных. Может, та самая беспартийная принадлежность, а то и вольные высказывания, сообщенные «куда следует» верноподданым соседом или сослуживцем, сыграли свою роль. Судить не берусь...

Не удалось мне и у самого деда спросить, в чем именно он ненадежным показался советской власти, да вряд ли он мне, мальцу, сумел толком объяснить ту свою ненадежность. Но солдатский рядовой паек семье платили, значит, какая-никакая вера к нему, а была. На том и держались... Без пайка совсем бы худо пришлось моему подростку отцу и его малолетнему брату, оставленным на попечении их матери, моей будущей бабушки-учительницы. Так и дождались они дня победы без особой надежды остаться в живых.

На второй год фронтовой жизни признали у деда неизлечимую болезнь и комиссовали «по чистой». В теплушке до Тюмени почти месяц везли, а оттуда за два дня прошагал до Тобольска без сна и остановок. Видать, вятский корень и землемерская закалка не подвели, в очередной раз выручили рядового бойца. Дошел до дома и прямиком на операционный стол. Залатали, зашили, определили на службу в местный отдел земельного устройства. И опять все с той же мерной рейкой по полям и перелескам Тобольского плоскогорья. Но теперь хоть надолго от родной семьи и домашнего крова не отрывался.

Так, глядишь, и доработал до пенсии, если бы кто-то из сослуживцев не позавидовал его неумности и отчаянному труду даже во время отпуска. Оказывается, во время отпуска всем, кто на государственной службе состоял, полагалось дома сидеть или чем иным заниматься, но только не работой. А дед мой еще и других, кто помоложе, привлекал этим делом заниматься, чтоб лишнюю прибавку к жалованию получить за счет неурочной работы.

Когда их подпольную организацию разоблачили, то кто-то из шибко сердобольных показал, что дед как-то по доброте душевной разрешил вдове их умершего ветерана-работника подводу дров увести из поленницы, предназначенный для печей госучреждения. Кому какое дело, что малые дети вдовы той могли преспокойно от сибирского холода померзнуть. Кража госимущества! Вредительство! А как иначе...

Прокурор за такое самоуправство отмерил срок аж в 12 лет! Адвокат напирал на безупречную службу и на дедову инвалидность, как я потом из судебного дела узнал, в архиве мной обнаруженного. Помогло, но не очень. Удалось лишь четвертинку срока отщипнуть. Результат вышел все одно весомый – 8 годков лагерей. Может, и то сказалось, что отец мой, дедов сын, в то время свой срок отбывал за поимку вора на судне. Пусть малый, но все одно – срок. Яблоко от яблони, как ни крути, а всегда рядом ложится. Наверняка и о том помянули на суде, мол, налицо семейка врагов народа.

Хоть и мал был, но помню, как пришли за дедом двое служивых при винтовках, а он в это время за домом сидел. Ждал, видать. Конвойные мужики в дверь стук-стук... Бабушка на порог вышла... И говорит тем, с ружьями на плечах: «Мужа дома нет, приходите позже». Хотела, значит, оттянуть минуту расставания.

А я, несмышлениш, как раз во дворе играл, решил знайство свое показать и ляпнул: «Бабушка, ты, наверное, не знаешь, дедушка на лавочке за домом сидит...» Куда тут деваться, забрали деда, увели... Ни слова тогда бабушка мне не сказала за ту правду мою. Но вот я-то ее до конца жизни помнить буду. На то она и правда, что с какого бока ни глянешь, а все разная. Вот только двух одинаковых правд мне видеть еще не приходилось. Потому иной раз и не знаешь: промолчать или рассказать все как есть... Тут каждый должен сам за себя решить и носить в себе то свое решение, сколько на земле проживешь...

Не могу назвать точно год той очередной семейной трагедии, да и что он даст. Они в ту пору все одного цвета были – серые, один на другой похожие, ни один праздник их краше не делал. Но вот после смерти «вождя» народ вроде бы как оживился, смелее говорить начали, без прежней опаски, но все одно с оглядкой. Появилось новенькое словечко – «амнистия». Видно, бабушка об эту пору и написала письмо, да не кому-нибудь, а прямым образом самому Климу Ворошилову. И ведь помогло! Пришла телеграмма с багровыми литерными буквами по всему тексту с левого нижнего угла на верхний правый: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. Не в каждую семью, где такое же горе жило-обитало, почтальон принес с трепетом в руках такую грамотку, почитай что царскую.

Но это еще не праздник, дед все одно в лагере на казенных харчах свой срок отсидивает. Не скажу, зачем и с какой целью, но ждать, пока там власти во всем разберутся, бабушка не стала. Не смогла. Характера она была отчаянного и, если что решила, делала сразу и мигом. И в день собралась в поездку. И меня с собой прихватила. А было мне тогда или пять, или шесть лет. Надеялась, власти к ребенку отнесутся с большим вниманием, нежели к ней, жене обычного заключенного. Сколько их тогда возле лагерных ворот через заборные щели смотрело внутрь сталинских казематов. Не счесть.

Три дня мы плыли до Тюмени на пароходе. Потом паровозом, половину пути на крыше вагона. Внутри мест не было. Вся страна словно с катушек сорвалась и поехала, покатила кто куда. Добрались до Екатеринбурга. И хотя великолепно знаю, как он в ту пору назывался, но лишний раз повторять фамилию того, кто раскатал Русь по бревнышкам, обратил в пепел, не хочу и не стану.

Но самое кошмарное началось на привокзальных путях, где составы стояли без всякой нумерации многослойной гусеницей и отправлялись по третьему свистку без всяких объявлений по громкоговорителю, которых или совсем не было, или они, как водится, просто не работали. Наш поезд стоял на семнадцатом пути, и подступиться к нему не было никакой возможности, потому как то один, то другой состав приходил в движение, и нужно было переждать, пока вся вереница вагонов утомительно медленно прогрохочет перед тобой.

Шустрый народ мигом приноровился к этой несусветной путанице и полез напрямик под вагонами, таща за собой узлы, чемоданы, маленьких детей, рискуя попасть под колеса начавшего двигаться состава. Бабушка последовала их примеру и потащила меня за собой. Иногда по несколько минут переждали, когда пройдет соседний поезд, надеясь, что наш не тронется. Тут мне, наверное, впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Но молчал. Даже закричи я тогда в голос, кто б услышал? Чем бы помог? Бабушку напугал, только и всего. Потому на четвереньках, а иногда и ползком пробирались чуть не час через всю эту железнодорожную катавасию, пока не оказались возле наших теплушек, сцепленных вместе четырех вагонов.

На полу солома, пассажиров всего несколько человек, и все бабы с узлами и баулами. Молчаливые и неразговорчивые. Ехали недолго, всего одну ночь, а к обеду уже оказались на небольшой станции, где нас встретил военный патруль и указал, куда идти в сторону лагерных ворот. Я глянул на бабушку: все лицо в копоти, хоть и протирали его несколько раз платком. А половина волос почему-то вдруг стала белой. Думал, отмоются волосы, тоже испачкались, но те седые прядки так и остались у ней воспоминанием о поездке на свидание к мужу.

Сам лагерь находился в горах, меж двух сопок, и всего 4-5 барачков-полуземлянок для зеков, наверняка числом не более двух сотен. При входе у лагерных ворот меня впервые в жизни обыскали. Полушутя хлопнули рукой по груди, по животу и чуть выше колен спереди, а потом проделали то же самое, заставив повернуться спиной к охраннику. Велели ждать возвращения отряда с работы в какой-то избушке и по территории не ходить.

Прошел час или два, и со стороны леса послышалось непонятное побрякивание. Выглянул в окно и увидел вереницу одинаково одетых людей, что медленно, по трое в ряд шли к наполовину открытым воротом. Бабушка не успела схватить меня за руку, и я выскочил из избушки, побежал туда, к серой людской массе, надеясь, что сейчас меня подхватит на руки дед. Но лагерная овчарка так злобно твякнула на меня, что на какое-то время я потерял речь и потом еще долго с трудом выговаривал

буквы. Следом подбежала бабушка, поймала меня за руку, прижала к забору, велела стоять и не шевелиться. Деда я узнал исключительно по улыбке: до того он был худой и какой-то весь почерневший, обугленный, но его голубые глаза смеялись, и он незаметно от охраны кивал мне головой.

И здесь каждого заключенного несколько охранников так же, как и меня, троекратно хлопывали, но только двумя руками. Делали они это так неуловимо ловко и быстро, будто сбивали невидимую грязь и пыль с арестантских телогреек, и те делали шаг вперед. Меня буквально заворожило и это зрелище отлаженной работы рук одних, и снисходительный взгляд сверху вниз других, обыскиваемых. Было во всем этом что-то магическое, театральное, когда один человек заботливо ощупывает другого.

Деду подойти к нам сразу не разрешили. Встретились в столовой, где меня почему-то привлек здоровенный повар в большом белом колпаке на голове и с огромной поварешкой в здоровущих волосатых руках. Я, надо полагать, тоже ему понравился, потому как он широко мне улыбался да и потом, пока мы ели, постоянно подмигивал. Заметили это и другие заключенные и что-то шепнули деду, он зло отмахнулся, а мне строго велел смотреть в другую сторону и от него потом никуда не отходить. Мне же повар показался вполне безобидным и даже настроенным дружелюбно, о чем и попробовал сказать деду. В ответ на что он сказал, что глупые доверчивые мальчики могут легко попасть в поварской котел, и никто их никогда уже не найдет.

Потом нам всем втроем разрешили прогуляться вдоль лагерного забора, в изобилии увитого колючей проволокой. Я осторожно тронул ее пальцем и от боли отдернул руку. До того шипы у нее были острые. А дед покровительственно посоветовал: «Ты варежку на руку надень или набрось чего сверху, тогда она колоться и не будет... Или уж терпи, коль мужик...»

Я не понял тогда этот его совет, но потом, через много лет, воспроизводя раз за разом в памяти эту его фразу, догадался: любая колючка страшна, если будешь хватать ее голой рукой, с маху. Но уж если попал за колючую проволоку, не хнычь и вида, что тебе больно, не показывай. Боль – вещь временная. Надо лишь сперва перетерпеть, а придет срок, и свыкнешься с любой болью, привыкнешь, словно и нет ее вовсе.

А дед той же осенью вернулся домой и первым делом ободрал колючую проволоку на заборе, которую зачем-то прилепил туда наш сосед, наверное, чтоб разделить наши участки. Сосед, видевший это самоуправство, ни слова не сказал. Тем более, как узнал много позже, он тоже ставил свою подпись под письмом тех «сознательных товарищей», обвинивших деда во внеурочном приработке и отпущенных без положенной накладной дровах неизвестной мне вдове.

Колючая проволока не самое страшное испытание в жизни, главное, чтоб она внутри тебя не проросла, отделив от всего остального мира острыми шипами...

СЫН ИРТЫША

мои родители

Моих маму и папу соединил Иртыш, как бы странно это ни звучало. И тот же Иртыш забрал моего отца в самом его расцвете сил. Поэтому, с одной стороны, я благодарен за то, что он свел моих родителей, благодаря чему вскоре я появился на свет. А с другой – вправе обвинить его в жестокости и коварстве, во многом изменивших мою жизнь. Но могучая река вряд ли услышит и как-то ответит на мои упреки. Он просто лишний раз показал, насколько велика и непредсказуема его мощь и сила, и человек пред ними, как пред неким высшим существом, бессилён...

Пусть будет так. Но если выдается свободное время, обязательно заверну на его речное крутоярье и, никого не стесняюсь, раскину обе руки, словно птица крылья, и попрошу у него сил и воли жить дальше, жить, ничего не страшась и не сгибаясь. Вопреки ветрам, исходящим от его таинственных глубин и переменчивого настроения. И верю, он слышит мою просьбу и дает незримую подпитку человеку, выросшему на его диких и обрывистых берегах. Для меня он – живое существо, с которым, несмотря ни на что, надо жить в дружбе и взаимопонимании...

...А познакомились мои мама и папа, будучи речниками: мама – диспетчером в речном техническом участке, а отец – капитаном небольшого по нынешним временам парходика «Вогулец», где, по рассказам родителей, я провел первые месяцы своей жизни во время их совместного плавания куда-то на север по речному фарватеру все того же судьбоносного Иртыша.

Мама была направлена на работу в Тобольск после окончания речного училища в Ростове-на-Дону и прожила здесь до конца своей жизни, имея одну единственную запись в трудовой книжке. Родиной же ее был Ставропольский край, станица Попутная в самом центре Кубани, неподалеку от Майкопа – столицы Адыгеи. Предки ее отца, согласно семейной легенде, несли в себе кровь одного из многочисленных кавказских народов, скорее всего воинственных адыгов, о чем говорил и внешний облик моего деда по матери, и черты характера, свойственные большинству кавказцев. На себе испытал мамину вспыльчивость, темперамент и умение постоять за себя.

Перед самой войной ее семья перебралась на Дон в станицу Семикаракорскую, что находится не так далеко от Ростова. Мамин отец (мой дед) служил механиком, и на фронт его забрали именно по этому профилю. С войны он вернулся в звании капитана-механика с медалями и орденами на груди и продолжил ремонт различной техники вплоть до ухода на пенсию. Потому не особо удивляюсь, что оба моих сына имеют явную склонность к различным ремонтным и строительным работам, как их прадед. К слову сказать, другие мои отец и дед (Софроновы) тоже были мастерами исключительными, а отец еще и одним из первых в городе радиолюбителей, собравший собственными руками в конце 50-х годов прошлого века вполне действующий телевизор.

Но вернемся к маминой биографии. Во время оккупации ее и таких же девчонок немецкие солдаты и добровольные полицаи погрузили в машины и повезли в «немецину». Но тут случился прорыв фронта нашими частями, и конвоиры дружно разбежались. Девчата не стали ждать их возвращения и рванули в плавни, заросшие высокими камышами. По маминым словам, их там выслеживали, пустив вслед за ними овчарок. Как ей удалось скрыться, не знаю, но она всю жизнь боялась собак этой породы, и когда я по недомыслию принес в дом (мама уже жила отдельно от нас) щенка овчарки, вырастил его, то она упорно не желала заходить к нам в гости. Такова сила памяти...

Ей и еще нескольким девушкам удалось добраться до наших частей, где их, несмотря на малолетство, охотно приняли медицинскими сестрами в тыловой госпиталь. Всегда удивлялся ее умению ловко перевязывать бинтами мои многочисленные раны, которые регулярно появлялись у меня то на руках, то на ногах, случалось и на голове. На мои вопросы, как это у нее складно всё получается, отвечала с усмешкой, что и безрукого и безногого может перевязать вполне профессионально, научившись этой премудрости в лихую годину. Слава Богу, но со мной до этого не дошло...

Но более всего врезались в память семейные праздничные застолья, когда весь стол был уставлен различными закусками, пирогом из нельмы, и заканчивалось все домашней выпечки тортом. Что мама, что бабушка были большими кулинарами, имели каждая по несколько тетрадок с рецептами разных блюд, туда же клеивались вырезки из журнала «Работница», а то и испещренные чьим-то незнакомым почерком краткие сведения о количестве необходимых продуктов и других ингредиентов. Выпивали мало, и уже после первой рюмки какая-нибудь из наиболее голосистых женщин заводила популярную песню, остальные подхватывали, в то время как мужчины сдержанно подпевали, потому как у большинства из них музыкальные данные были далеки от совершенства. В теплую погоду мужчины шли на лавочку, под старую березу, где курили, обсуждали какие-то новости, но мне это было малоинтересно, а потому старался побыстрее убежать на улицу, где уже всюду шла игра в футбол.

Когда я уже подросток, то мама часто просила прийти встретить ее, поскольку автобусы ходили редко, а Тобольск испокон века считался городом беспокойным, с давними бандитскими традициями. Часто, по весне, она брала меня с собой отнести какие-то срочные распоряжения на земснаряд, как звалось специальное судно по углублению русла реки. К нему от самого берега были проложены большого диаметра трубы, через которые и прокачивалась размытая песчаная смесь, а сверху на них были закреплены поручни и ограждения из тонкого каната, в темное время зажигались красные фонарики, что делало это сооружение похожим на большую светящуюся гусеницу, вздымаемую легкой речной волной. Я пытался быстрее пробежать по этому плавучему настилу, словно какое-то морское чудовище подстерегало меня в глубине и готово было в любой момент схватить и утянуть за собой в пучину.

Когда случалось зайти к маме на работу днем, то обычно слышал ее громкий голос из небольшой комнатки, где стояла мощная рация для связи с судами, которые были разбросаны по всему Обь-Иртышскому бассейну вплоть до Ямала. Мама передавала по радиосвязи какие-то параметры, показатели, приказы, принимала ответные данные. Одним словом, на ней была связь со всеми флотскими коллективами, и потому не помню, чтоб она хоть раз брала больничный, считая, что без нее все производство не иначе как остановится.

Нет, у отца на работе в институте было куда интересней. И само дореволюционное здание с огромными окнами, высоченными, как в аристократических дворцах, потолками, дверьми высотой чуть не в два человеческих роста, все это внушало почтение, некую робость, желание подтянуться, не прыгать через две ступеньки, а идти чинно и благородно. А главное – это десятки, если не сотни самых различных приборов, стоящих в лабораторных помещениях в старинных застекленных шкафах, а еще и на полках, тянущихся до самого потолка, а многие из них прямо на столах, где их проверяли, а то и ремонтировали, готовя к проведению лабораторных работ. Именно мой отец заведовал всей измерительной и учебной техникой, имеющейся в институте, и отвечал за ее исправность.

Когда я уже сам работал в том же учебном заведении, то меня разыскал по телефону его бывший коллега-сослуживец, профессор почтенного возраста из Томска, который, спеша и захлебываясь, сбиваясь на детали и мелкие факты, поведал мне, как они с моим папой буквально с нуля в послевоенные годы воссоздали институтские лаборатории, что позволило в дальнейшем открыть отделение физики.

Самое интересное, что, будучи студентом физмата, собирал различные схемы, используя эти самые приборы. Оказалось, что мой отец вместе с тем томским профессором собрали их по пустующим зданиям различных институтов, размещенных в Тобольске в годы войны, а потом вернувшись в родные края, оставив те приборы на сибирской земле. И еще любопытный факт: папу взяли на ответственную должность в институт сразу после его отсидки в местной тюрьме. Предполагаю, что он был реабилитирован, но точных сведений на этот счет не имею.

Как и все тоболяки, папа частенько выбирался на рыбалку. У него был целый набор блесен, и он, даже не спросив на то разрешения у бабушки, использовал для этих целей несколько серебряных ложек, доставшихся ей от родителей. Помню, как она переживала на этот счет, но исправить что-то было уже невозможно.

Несколько раз папа брал меня с собой. Для этого нужно было вставать еще до восхода солнца, потом мы шли на берег Иртыша, окутанные холодным и влажным речным туманом, мимо мрачного здания тюрьмы, где на нас с высоты бдительно поглядывали охранники из своих будок, возвышавшихся над красными кирпичными стенами, и лишь потом спустились по крутоярию к реке. На воде покачивалось огромное количество неошкуренных бревен, связанных меж собой в плоты, которые затем на буксире доставляли на лесопилки. По плавающим в воде бревнам нужно было пройти до самого их краешка, откуда и следовало забрасывать

удочки. Отец заранее предупредил меня, что некоторые из бревен могут быть не закреплены, а потому ступать на каждое из них следует с опаской, проверяя их ногой, чтоб не уйти с головой под плоты.

И вдруг меня не на шутку обуял страх (было мне тогда лет 7 или 8), и я шел след в след за папой, а он намеренно или нет шагал широко, размашисто и в мою сторону даже не оглядывался. Но все же, пусть с большим опозданием, но до края бревенчатого массива я добрался, весь дрожа и проклиная себя, что согласился на эту рыбалку. Обратнo уже шел смелее, легко определяя, какое бревно плавает ниже других, значит, ступать на него не стоит, провалишься.

То был мой первый урок мужества, когда не сбежал, не устроил истерики, а сумел преодолеть захлестнувшее меня чувство страха. И потом, в молодые годы, старался, как и тогда, в детстве, идти наперекор этому сковывающему движения и парализующему тебя чувству, пока совсем не изжил его из себя.

Папа еще отличался хорошим чувством юмора, что, на мой взгляд, вообще-то свойственно любимым сибирякам. Он мог так «подколоть» собеседника одной единственной фразой, что тот в ответ лишь хмыкал и не знал, что ответить. Помню, что как-то ранней весной заскочил к нему на работу в институт и, поскольку, как всегда, бежал бегом, распарился, снял шапку и вытер пот со лба, произнес: «Ой, жарко-то как...» В ответ услышал: «Да, вижу, жарко, аж под носом каплет». Ну, что тут ответишь, если действительно так оно и было. Капало!

Вспоминается анекдот-загадка, как-то заданный им мне: «Отгадай, что это – вокруг вода, а в середине закон». Естественно, ответа я не знал. Тогда папа с серьезным видом пояснил: «Прокурор ванну принимает». И тут же следом последовала похожая загадка: «А вот когда вокруг закон, а внутри вода? Что скажешь». И тут я почесал в затылке, не находя ответа. «Прокурору клизму ставят», – с улыбкой ответил отец и ушел в другую комнату, оставив меня в полном смущении.

Не помню, чтоб меж родителями возникали серьезные ссоры, не считая мелочных нареканий с маминой стороны. Но один довольно комичный случай запомнился мне на всю жизнь. Как-то летом, ближе к вечеру, мама попросила дать ей бинокль, который она сроду в руки не брала. Бинокль был немецкий, трофейный с цейсовской оптикой, привезенный с войны ее отцом и подаренный любимому внуку. Я же мог часами разглядывать с сеновала через маленькое окошко гуляющие в саду Ермака парочки, прохожих, птиц на деревьях. Совсем иное виденье, когда совсем рядом с тобой видишь то, что не подвластно обычно наблюдателю.

Конечно, я удивился маминой просьбе, но бинокль без лишних вопросов покорно ей вручил. Она вышла на улицу, и вскоре услышал, как она поднимается по лестнице на второй этаж. Снедаемый любопытством, заглянул в дверь, где начиналась лестница наверх, и увидел, что мама поднимается на чердак. Зачем? Ответа на этот вопрос у меня не было. А через каких-то пять минут мама уже спустилась обратно, вернула бинокль и вышла за ограду. Мне не было до того особого дела, и пользуясь тем, что никто не поручает мне очередную работу, достал

из-под подушки очередную книгу и окунулся совсем в иной мир. Прошло минут двадцать, и вот на пороге появился папа под руку с мамой. Он время от времени улыбался и крутил головой, она же была насуплена и тут же ушла на кухню.

Может, этот эпизод так бы и канул в моей памяти, если бы не рассказы друзей отца уже после его гибели, которые, придя как-то к нам в гости, со смехом вспоминали, как мама выследила их с помощью бинокля, когда они расположились после работы вечером с запасом спиртного на склоне Панина бугра, что находился как раз через лог от нашего дома. Дальнейшее было ясно: мама незамедлительно отправилась туда и положила конец дружеской пирушке, сопроводив папу домой.

Тогда же они поведали мне и о другом аналогичном случае. В лаборатории института раз в квартал поступал для различных нужд чистый медицинский спирт в специальных бутылках. На что он использовался, сказать не могу, но в отчетах на списание этой опасной жидкости лаборанты обычно указывали: «употреблен для протирки оптических осей». И в бухгалтерии такой отчет раз за разом принимали, хотя любой маломальски смыслящий в физике человек знал, что эти самые «оптические оси» существуют как термин исключительно в нашем воображении. Но для занятых подсчетами финансов бухгалтеров эти тонкости были неизвестны, и они, ничуть не сомневаясь, подписывали подобные документы, вызывая дружный смех физиков-лаборантов.

По давно сложившейся традиции в конце каждого квартала, накануне списания очередного спиртового запаса, когда весь основной институтский персонал расходился по домам, большинство мужчин факультета собирались вечером дружной компанией. Думаю, не стоит объяснять, для какой цели. Естественно, что их явка домой происходила со значительным опозданием. Но что сделаешь, традиция есть традиция.

И вот в один из таких вечеров моя мама, устав ждать возвращения отца со службы, отправилась напрямиком в институт и увидела, что на входных дверях висит большой замок, но при этом одна из комнат третьего этажа ярко освещена, и оттуда слышны веселые мужские голоса. Не зная, как попасть внутрь, она прошла на задний двор и увидела там пожарную лестницу, ведущую на крышу. Недолго думая, она взобралась по ней, через неприкрытое слуховое окно попала на чердак, а уже оттуда спустилась внутрь самого здания.

Представляю, каково было неподдельное удивление мирно сидевшего в тесной лаборатории мужского спаянного коллектива, когда на пороге явилась непонятно откуда взявшаяся супруга заведующего институтскими лабораториями и пригласила его в срочном порядке отправиться домой. Так что мою маму уважали и побаивались не только по месту ее службы, но и все сотрудники мужского пола серьезного высшего заведения, единственного в нашем городе.

Но хорошо помню и мамины слезы, когда ей за опоздание на десять минут на работу записали в специальную книгу учета второе замечание на этот счет. А третье замечание по законам того времени грозило отправкой на принудительные работы, поскольку речной флот был приравнен к армии и малейшее нарушение трудовой дисциплины грозило весьма большими неприятностями.

Но папа, как всегда, нашел простой и оригинальный способ решения этого вопроса. Уже на другой день он привез домой роскошный дамский велосипед, эффектно обтянутый под седлом и на крыльях ажурной цветной сеточкой. Мама быстро научилась им управлять, и вопрос об опозданиях решился как бы сам собой.

Для закупки оборудования и других серьезных поручений отца часто командировали в Москву, откуда он без подарков никогда не возвращался. У нас появилась едва ли не первая в городе стиральная машина, прослужившая почти полвека, пылесос «Ракета», электропроигрыватель, роскошный радиоприемник «Балтика», через который папа по ночам слушал «вражеские голоса», что в дальнейшем передалось и мне после его гибели. Мне же он привозил обычно какой-нибудь радиоконструктор, набор частей для сборки часов-ходиков, модели различных кораблей-парусников, самолетов и пр. пр. Но больше всего мне запомнился детский телефон на батарейках, который мы с другом, жившим по соседству, мигом собрали, натянули провода меж нашими домами и спокойно могли звонить и разговаривать друг с другом. Благодаря этим детским конструкторам, в которых использовались основные детали, служившие для сбора радиосхем, быстро освоил электро- и радиотехнику, а потом и сам начал паять простейшие схемы вплоть до детекторного приемника.

Друзья отца не раз рассказывали мне и о его природной силе, почему никто из местных драчунов не смел с ним связываться. Как-то один из наших знакомых видел отца, поднимающегося по Никольскому взвозу, ведя под уздцы лошадь, что тащила сани с огромным возом сена. На середине пути она выдохлась и встала. Тогда отец отстегнул одну оглоблю, положил ее себе на плечо, и воз пошел, а те, кто шел мимо, стояли буквально с раскрытыми ртами, удивляясь его силе.

Встречался я и с пожилым речником, который вместе с моим отцом участвовал в перегоне трофейных немецких морских судов с Балтийского моря по Северному морскому пути вплоть до самого Тобольска. Тот речник спросил меня, почему мой отец так неважно плавал. Попытался пояснить, что детство он провел на Ямале, где научиться плаванию практически было невозможно. Это, судя по всему, и подвело его, когда лодка, на которой находился он и еще несколько человек, попала на Иртыше в сильнейший шторм. Как знать. Иртыш на этот счет не спросишь...

Молчит Иртыш-батюшка и зимой, скованный льдом, копит свои силы до поры до времени. Но придет весна, и он явит свою мощь и удаль нам, людям, живущим на его крутых берегах. Поэтому вправе считать себя не только сыном своих родителей, но крестным моим отцом, думаю, стал именно Иртыш, который сперва свел вместе моих родителей, а потом по своей злой воле навсегда разлучил их.

Но нет у меня на него обиды – человек не вправе обижаться на Бога и те силы, что находятся в Его и только Его власти. Мы не можем выбирать своих родителей, но должны помнить и ценить все то, что они в нас вложили, благодаря чему мы стали именно такими, единственными и неповторимыми в своем роде.

И последнее. Надеюсь, Батюшка-Иртыш помнит все свои добрые и не очень дела, и придет время, мы научимся понимать речь не только зверей и птиц, но и рек, без которых не было бы на земле и нас, живущих до тех пор, пока эти реки существуют...

МУКИ ПИСАТЕЛЬСКИЕ

Кто бы что ни говорил, но речь дана нам не только для общения. Передавать информацию можно жестами, мимикой, свистом и еще массой других способов. Но речь – это божественный дар, и каждое наше слово обращено к Богу. Слова, облаченные во фразы и занесенные на бумагу, становятся, по сути своей, бессмертными. Они переживут автора, оставившего после себя самое ценное в этой жизни – собственные мысли...

Вряд ли я думал об этом, когда только научился выводить свои первые детские каракули. Не знаю, когда именно передача на бумагу знаков, складывающихся в слова, предложения, стала для меня столь же естественной, как дышать, думать, идти, есть и пить. Священнодействие письма завораживало, очаровывало и несло в себе некое таинство. Человек с пером в руке – это не просто человек, а волшебник, чернокнижник, маг. Писать слова – это как вызывать духов. Священный обряд. Если раньше первобытные люди царапали на скалах изображения животных и поклонялись им, то теперь мы поклоняемся мыслям, что рождают гении.

Когда я узнал значение букв и научился оставлять на бумаге свои слова, то мной овладело желание обозначить, запечатлеть каждый свой поступок и, недолго думая, решил исполнить это дремлющее во мне желание что-то совершить, исполнить. Неважно, что назавтра они забывались, сменялись другими, но бумага стала моим посредником между мечтаниями и реальностью. Главная беда состояла в том, что мысль не поспевала за пером, за движением руки. Слишком мало чернил захватывало металлическое перо, и уже на второй-третьей букве его нужно было вновь обмакивать в чернильницу. Одно предложение требовало связки с предыдущим, трудно было подыскать нужные слова, а еще труднее написать их без ошибок. Моя грамотность была ужасна, хотя, если честно, меня этот факт несколько не волновал. Главное, что медленно, очень медленно чистый лист покрывался буквицами, и, добравшись до середины тетрадного листка, я уже изнемогал, словно переколол поленницу дров. Потому самым страшным уроком для меня было чистописание, где от нас требовали каллиграфического написания, а тех, кто выделял в тетрадке немыслимые каракули, нещадно стыдили, и выражение «как курица лапой» прочно пропечаталось в моем мозгу.

Невелик был и запас используемых мной слов: «пошел, увидел, сказал; дом, школа, магазин». Еще имена друзей и знакомых. В результате получалось: «Встретил Вову», «Ходил в школу», «Играл с собакой». Да, не очень-то высокого пошиба творчество рождалось из-под моего пера. Но это было МОЕ творчество, без нажима с чьей-то стороны, а добровольное, самостоятельное...

Наиболее неординарными были описания совместного возвращения из школы меня и моей соседки по парте, жившей неподалеку.

Естественно, при всей пылкости своей природы я был в нее тайно влюблен и если бы на тот момент обладал определенным запасом требуемых слов, фраз, образов и, главное, мужества, решительности, то наверняка бы посвятил ей не один десяток стихов, а то и поэм. Может быть, так оно со временем и случилось, если бы судьба в лице моего отца не провела меня без великих потерь мимо участи лирического поэта.

Свои записи я тщательно прятал под стопку старых тетрадей, наивно надеясь, что никому до них дела нет. То была не просто наивность, а детская философия, из которой вытекало, что все написанное лично тобой принадлежит исключительно тебе и для других глаз не должно быть доступно. Как же я был не прав и потому наказан самым жестоким образом, да так, что те давние переживания нет-нет да и вспыхнут с новой силой, и уже в зрелом возрасте румянец произвольно прихлынет к щекам, и вновь в который раз испытаешь то давнее чувство неловкости и... стыда.

Так вот однажды, возвратясь из школы, я был поражен громкими взрывами хохота, что неслись из кухни, где находились мои отец и мать. Больше в доме никого не было. Я даже обрадовался, что у родителей такое хорошеет настроение, значит, не будут спрашивать, где задержался, проверять дневник. Поначалу я решил, что папа читает вслух очередную выдержку из журнала «Крокодил», что был тогда главным источником советских юмористов, не считая, конечно, анекдотов, что рисковали рассказывать далеко не в любой компании. Но потом, прислушавшись, к ужасу своему понял, что папа зачитывает выдержки из моего дневника.

Меня кинуло в жар, промчался, не раздеваясь, в свою комнатушку за занавеской и упал лицом вниз на кровать. Не помню, плакал ли я тогда или просто изрыгал беззвучные проклятия и при этом сгорал от стыда. Впервые в жизни мне было так стыдно. Да, стыдно и неловко, словно совершил что-то непристойное, чему нет прощения. Захотелось убежать из дома и не возвращаться обратно. А вот войти на кухню, забрать свой дневник, сказать родителям что-то обидное, мол, нехорошо, некрасиво читать чужой дневник, у меня элементарно не хватило мужества.

Не буду скрывать, я боялся своих родителей. Не за то, что накажут, поставят в угол, то было привычно и обыденно, если заслужил, а потому что пришлось бы открыть свою главную мечту – составлять из слов фразы. Меня наверняка бы обозвали Пушкиным или Толстым, а получить такую кличку и того хуже. Потому я просто сделал вид, что ничего не произошло и я не заметил исчезновения своего дневника. Когда же он в мое отсутствие появился на том же самом месте, где и лежал, я тут же сжег его. И никогда больше дневники не писал. Или даже что-то связанное с преданием бумаге собственных мыслей, не говоря о чувствах. Не хватало смелости. И еще во мне поселилась боязнь быть публично высмеянным, хотя родители ни словом не обмолвились, что стали первыми в жизни читателями моих «сочинений».

Следующие годы, учась в школе, я не писал ничего, кроме стандартных, заданных по программе школьных сочинений, опять же стараясь использовать не свои фразы, не то, о чем думал, а брать их из учебников, газет, откуда угодно, но только не свое. Может, оно и хорошо, что

тем самым пережил пору графоманства, которой болеет большинство юношества, как коклюшем или скарлатиной. Не думаю, что родил бы в пору своей юности что-то экстраординарное. Но зато понял, что занятие магией слова чревато ответственностью за каждое написанное тобой слово. Рано или поздно за него придется ответить и уже не перед родителями, а перед всеми, кому в руки твое сочинение попадет. И самое главное, твои слова, как и мысли, дойдут до Бога. Что ты обозначишь на бумаге, то рано или поздно получишь в ответ. И добро и зло, выплеснувшееся из тебя, будет жить где-то поблизости. Вот потому к слову и нужно относиться не только бережно, но и с осторожностью. Магия слова – это реальность...

СКОЛ НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ...

В Древней Руси издревле существовали училища, где учили мастерству, ратному делу, чтению, основам арифметики. Именовались они именно училищами, подчеркну это. Когда стали появляться школы и семинарии, то это были уже совсем иные заведения. С другой методой и целями.

Shole («схола») – слово греческого происхождения. В Древней Греции этим словом называли время для свободных дел, досуга. Позже значение его немного видоизменилось. Словом «swhole» стали называть занятия на досуге, а позднее – философские беседы, которые постепенно переросли в «учебные занятия».

Наша советская «скола» вполне соответствовала своему названию, точнее двоякому смыслу в ее русском звучании: скалывать. Скалывали все, что считалось «лишним», «ненужным», и прививали в первую очередь послушание, покорность, то, что называлось дисциплиной. Постепенно ребенок боялся сказать что-то свое, личное, поскольку учитель тут же его обрывал и говорил, как нужно говорить «правильно». Единая программа, единая система, все близко к военному обучению: делай так, как я.

Из известных мне учителей, что могли бы рассказывать о своем предмете увлеченно, занимательно, могу назвать единицы. Другие же вообще вели урок, не отрывая глаз от конспектов или учебников. Нас не учили, а протаскивали через предмет и ставили оценки. Больше всего убивали задачи по математике, где нужно было бесконечное число раз переносить непонятные «а, в, с» из одной части уравнения в другую. Зачем и ради чего, поинтересоваться никому и в голову не приходило. Так надо. Может потому, никто из наших выпускников так и не стал выдающимся математиком.

Само школьное здание размещалось в бывшем епархиальном училище с плесенью на стенах, которые каждое лето замазывали густым слоем масляной краски. Под полом нашего класса жило семейство крыс, и они свободно носились меж партами, подбирая остатки недоеденных завтраков. Мальчишки, что половчее, накидывали на них шапки, ловили, а потом пугали девчонок.

Занятие физкультурой проводили из-за нехватки помещения в выкопанном на несколько метров в земле «спортзале», настолько душном и затхлом, что уже к половине урока дышать там было невозможно. Другое дело – лыжные занятия на склонах Банного лога. За это благодарен.

В каждом классе были печи, которые топились с вечера, но если их закрывали раньше времени, то угарный запах витал большую часть первых уроков. В каждом классе имелся набор керосиновых ламп, и в сумерки, когда городская электростанция не справлялась со своей нагрузкой, на каждую парту ставили эти самые керосиновые осветительные приборы, и занятия велись дальше как ни в чем не бывало. Слава Богу, но на моей памяти не было ни одного пожара. И все это считалось нормой, как и собственная чернильница, которую уносили в специально сшитых мешочках домой, а на другой день опять несли в школу.

Самые дикие сцены запомнились мне на уроках пения, когда пацаны наотрез отказывались петь, верещали что-то там, бляели, кричали петухом, строили страшные морды. Подобные безобразия заканчивались тем, что учитель пения спокойно брал за шиворот дебошира, тащил к выходу и со всей мочи вышвыривал его в коридор ударом кулака. Не помню, чтоб кто-нибудь на него когда-нибудь пожаловался. Потом он стал заслуженным учителем. По своим заслугам превзойдя многих. Другие на такое не решались.

Едва ли не большее время, чем самой учебе, уделялось художественной самодеятельности. Песни хором. О партии и вечно живом вожде. Девичьи ансамбли. Танцы. Обязательно с многонациональным репертуаром. Сперва в собственном актовом зале, а потом общегородской концерт в здании театра.

Если бы столько же время уделялось литературе или истории, наверняка толку было бы больше. Но и здесь никто из нас не стал хотя бы мало-мальским певцом или танцором. А вот стойкая отрыжка против любой самодеятельности у меня осталась на всю жизнь. Было во всем этом что-то унижительное и рабски-покорное одновременно. Сказали – пой, и ты должен, хочешь, нет ли, но петь.

Поэтому чуть ли не десяток лет не мог заставить себя зайти в эту «мою» очень среднюю школу, носящую номер 13. Видно, хорошо меня там обкололи. Изуверски и грамотно. И ни разочка не поинтересовавшись, как я себя при этом чувствую. Но другого пути ни у меня, ни у других моих сверстников не было. Ты должен был пройти через этот скол, чтоб потом, уже став взрослым, держать удар... И мы его держали. Но не у всех получалось.

Человек – существо хрупкое, хотя, как понимаю, далеко не все педагоги об этом подозревают...

ТЩЕТА И НИЩЕТА РЕПЕТИТОРСТВА

Ребенком я был довольно послушным, а потому когда моя бабушка заявила, что мне нужны репетиторы, то возражений с моей стороны не последовало. Конечно, с большим интересом ходил бы на

секцию, но... бабушка считала иначе. Она и жила иначе – по меркам давно минувшего девятнадцатого века, поскольку то было лучшее ее время жизни. В чем-то она была права. Скорее всего, во всем.

Имена моих репетиторов из соображений деликатности называть не стану, но то были люди круга моей бабушки с тем же образом мыслей и полной неприспособленности к быту, который, как мне кажется, они просто старались не замечать. Они тоже жили прошлым, и оно их защищало, как надвратная икона на городских воротах. При всей внешней несхожести они, если вдуматься были похожи, как две капли воды. Обе жили с престарелыми матерями, чьи мужья были репрессированы. Обе не были замужем. Не имели детей. У них была правильная речь и глубокая внутренняя интеллигентность, и одновременно простота в общении. Глубоко начитанные, они досконально знали свой предмет. И в то же время оставались весьма снисходительными к моим потугам дотянуться хоть чуточку до их уровня. Перед ними не стояла цель сделать из меня вундеркинда, совсем нет. Они помогали мне выполнять домашние задания. Бабушка платила им какие-то гроши из своей полунцищенской пенсии, и занимались они со мной, скорее всего, не ради заработка, а из уважения к своей коллеге. И никогда бабушка не попрекнула меня тем, что на эти деньги могла купить что-то для себя лично. И за это я ей благодарен сейчас, вполне осознавая жертвенность ее поступка.

Признаюсь честно, мне их предметы были совершенно не интересны: и математика и иностранный язык. Все мое время, не считая работы по дому, уходило на чтение очередной книги. Все школьные годы я находился в состоянии литературной горячки и, едва заканчивал читать одну книгу, как тут же брался за другую. Меня за это ругали, но отбирать и прятать книги не считали нужным. До крайностей дело не доходило. Где-то в восьмом классе меня перестали пускать в детскую библиотеку, потому что все, что стояло на библиотечных полках, я уже прочел, точнее – проглотил.

Сейчас уже могу смело сказать, что подобное бессистемное чтение имеет очень низкий коэффициент полезного действия. Это весьма похоже на заразную болезнь, чем в юности переболели многие. Потому и уроки делал впопыхах, без всякого внимания, в спешке и, соответственно, не будь моих наставниц, дальше троечника бы не поднялся. А тут под их неусыпным надзором, худо ли, бедно ли, домашнее задание выполнял и получал оценки не хуже тех, кто просиживал над уроками часы. Да и такое слово, как усидчивость, ко мне не имело никакого отношения. На месте не мог усидеть и пяти минут, но стоило взять в руки книгу, так счет шел на часы, а моя бы воля, то и сутки.

Я благодарен тем дополнительным занятиям не только за выполнение примитивных домашних заданий. Мои репетиторы много рассказывали мне о своей жизни. К тому же мама одной из них читала романы на французском языке (в подлиннике). Не знаю уж, где она их брала, все они были дореволюционного издания, но я с ужасом смотрел на нее, считая едва ли не пришельцем из других миров. Сам-то я хорошо понимал, мне никогда не выучить иностранный язык до того, чтоб прочесть и понять хотя бы страницу чуждого мне текста. Как осознал много позже,

по натуре своей был я прирожденный «русак» со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот старославянский язык почему-то давался мне легко, и читал я те же церковные тексты без особого напряжения, даже с интересом, хотя не понимал и половину из того, что там говорилось. А вот взяв что-то напечатанное не родными мне буквицами, тут же грустнел и откладывал в сторону. Какая-то особая генетическая предрасположенность? Не знаю, вполне может быть.

А еще моих репетиторш объединял какой-то здоровый оптимизм к жизни. Нет, не тот комсомольско-дерзкий настрой, что потом получил название апофегизма, а нечто более глубокое и светлое. Они никогда ни на что не жаловались. Ни на свои болезни, ни на нехватку одежды или продуктов, хотя жили очень и очень скромно. В них витала духовность и радость днем сегодняшним. Ни разочка ни одна из них не повысила на меня голос, чем поголовно страдали все наши так называемые педагоги. Они всегда и во всем вели себя очень достойно, и если осуждали меня за опоздание, то укоризненным взглядом, сопровождая его тяжким вздохом, делая это как-то очень театрально, отчего мне становилось одновременно и стыдно, и весело.

Не знаю, честно говорю, не знаю, пошли ли мне на пользу в плане усвоения неинтересного для меня материала по нелюбимым мной предметам результаты занятий с ними. Проще было прищучить меня и заставить делать уроки, чтоб являлся к ним с уже сделанными заданиями. Но такая прямолинейность была для них не свойственна.

Вот так бабушка нашла способ воздействия на мою юную личность, без насилия и принуждения, а через стыд перед солидными тетушками, огорчать которых я просто не мог из уважения к ним. Интеллигентность тем и хороша, что она не бьет наотмашь, а мягко треплет тебя по щеке, улыбается, и ты краснеешь от этих нежных, добрых слов, укоризненных взглядов и, пусть не сразу, начинаешь меняться.

За это я особенно им благодарен. Они научили меня, вряд ли подозревая о том, прежде всего – доброте. Доброте, уважению и к самому себе, и к тем, кто рядом с тобой. И... ответственности за свое дело. Если бы наши школьные учителя хоть чуточку умели так воздействовать на нас, школьников, процент успеваемости был бы наивысочайшим. Но... им по какой-то причине это качество не было привито в свое время. Жаль, что у них не было таких вот репетиторов...

ВЕЛОСИПЕД ИЗ РЕЙХСТАГА

В детстве у меня, как и многих моих сверстников, своего велосипеда не было. Катался на тех, что давали ребята с улицы. Папа все обещал купить, если сделаю то-то и то-то, оценки принесу такие, чтоб ему они понравились, то есть без троек. А это для меня тогда было совершенно невыполнимо. Если честно, просто невыполнимо. Может, хотел сделать из меня «ударника», а может, просто считал велосипедные покаталки блажью и баловством. Не знаю.

Взрослые всегда найдут причину оттянуть радостный час на такой срок, что потом и напоминать им об этом лишний раз уже становилось

просто неловко. Но неожиданно для всех в разгар лета папа погиб. Утонул в Иртыше, когда мне шел четырнадцатый год. И примечательный факт, маме через много лет был выделен участок под дачу как раз близ того гибельного места. Судьба ли так распорядилась или обычное совпадение, но вот так вышло...

Друзей у отца было великое множество, и кто-то из них в свое время прикатил к нам во двор трофейный велосипед, на котором его отец после войны ехал домой аж из самого Берлина. А взял он свой трофей не откуда-нибудь, а из разбомбленного нашими войсками рейхстага. Видимо, хозяину он уже не очень нужен оказался, или иное что, но оказалось то громоздкое чудовище, сверкающее хромированными деталями, в моей полной собственности. Правда, шины и камеры пришлось поменять, поскольку стерлись от дальней дороги; заклепали лопнувшую цепь, смазали подшипники, так что после недолгих манипуляций стал он для езды вполне пригоден.

Но мои уличные друзья отнеслись к моему железному коню с недоверием и брезгливостью, мол, немец он немец и есть, хотя и железный. Крепко тогда жила в мальчишеской среде ненависть ко всему немецкому. Значит, было за что. А еще кто-то рассмотрел на втулке переднего колеса эмблему в виде орла в каске, сжимающего в лапах весь земной шар. Слава богу, свастики хоть не было. Вот после этого никто даже прикасаться к вражеской машине не хотел. Относились, как к врагу, с полным презрением. Потому и старался свое иноземное чудо выкатывать, когда темнело и все уже давно по домам сидели. Если честно, то и мне он не по размеру был. Великоват. И, чуть проехав на нем по улице, старался побыстрее закатить его обратно в сарай. Зачем лишние насмешки выслушивать.

Но через год бабушка заявила, что для нашей прожорливой коровы нужно заготавливать сено, а это на той стороне Иртыша, куда попадать следовало через иртышскую переправу да еще около двух часов идти пешком до отведенного покоса. Сходили мы с ней раз, сходили два, неся на плечах литовки, грабли и узелок с едой. Тут бабушка мне и присоветовала в целях экономии сил литовки и грабли к раме велосипедной привязать, все полегче будет. Мигом с ней согласился и сделал все как положено.

Уходили пораньше, никто моего немецкого велосипеда не видел, а там, в поле, вдоль реки, можно было, если дорога ровная, укатанная, вскочить в седло и крутить педали, оставляя далеко позади себя бабушку и ее спутников, что шли в ту же сторону. Потом сообразили, что инструменты свои проще спрятать в кустах, все одно никто на них не покусится. И вот обратно, налегке, мчался я и по ровной дороге и по кочкам на такой скорости, на какую только способен был. Бабушка по доброте своей позволяла такую шалость. Дождался ее у переправы, а там паромщик перевозил нас за стандартные 15 копеек на другую сторону, и тут я уже вел велосипед, не рискуя наскочить по неопытности на какого-нибудь пешехода или грузовик.

Съездили мы так на покос раза три или четыре. Видно, я за прошедшую зиму подрос, потому как не ощущал прежнего неудобства верховой

езды. И все бы хорошо, вот только однажды, когда, возвращаясь с покоса, разогнавшись, решил проехать на полной скорости по бревенчатому мостику через речку, хотя прежде перебирался через него на своих ногах, ведя осторожно велосипед за руль. А тут нашло что-то на меня, решил рискнуть. И... вдруг это чудо и совершенство немецкой техники прямо подо мной развалилось на две части. Оказалось, разъединилась велосипедная рама: руль и переднее колесо оказались у меня в руках, а заднее колесо с сиденьем остались подо мной. Цирковой номер, не иначе. И полетел я с того мостика в реку, благо, было в том месте не особо глубоко, чуть выше колена. Но все одно, неприятно и главное, обидно за нелепую поломку и свой жалкий вид как у мокрой курицы. Выбрался на берег весь мокрый, а потом и две половинки велосипедные вытащил по очереди на берег. Подошла бабушка, что с другими покосниками следом шла, посмеялась, предложила бросить не выдержавший сибирских колдобин агрегат, но тут я воспротивился. И с грехом пополам дотащил оба колеса волоком до переправы. А рядом с рекой находилась как раз мамина работа, участок технических путей водного транспорта. Там и оставил на сохранение сторожу развалившийся пополам трофей.

Долго я искал мастера, кто бы помог мне восстановить трофейный транспорт. Сжалился один из друзей отца и приварил обе половинки рамы одну к другой, вогнав в разъединившуюся трубу толстый металлический стержень. Все, можно было ездить и дальше. Но у меня почему-то возникло стойкое неприятие к вражеской технике. Думал, если один раз подвел, то обязательно опять в самый ответственный момент даст сбой.

Мы тогда все считали, что лучше русской техники ничего на свете и быть не может. Зря, что ли, мы у этих немцев войну выиграли? Короче говоря, не котировалось все иноземное. Это уже потом услышал словечко: «немецкое качество». Но качество качеством, а к нашим сельским дорогам оказался тот велосипед непригоден. Хоть прежний хозяин и проехал на нем от самого рейхстага аж до Сибири. По Европе – пожалуйста, кати, не хочу. А наш грунт ему не по нутру оказался. И хоть эмблема на втулке намекала, что немецкий орел в когтях своих весь земной шар удержать может, но с Россией вот как-то не вышло. Не по зубам и не по когтям она ему оказалась.

О конфузе моем ребята так и не узнали, не сказал. Скрыл о той аварии на мостике, а то бы засмеяли вконец. И продолжал, когда очень хотелось прокатиться, брать у друзей наши зилковские велосипеды. Хоть один кружок по улице, но на своем, отечественном, этот не подведет.

Такого слова, как «патриотизм», в ходу тогда еще не было. Да и какие из нас патриоты, если разобраться. Обычные пацаны, которые верили всему нашему, а то, что оттуда, из-за «бугра», считалось смешным и нелепым. И если бы делали и дальше такие велосипеды и машины, которым наши дороги нипочем, так никто бы в сторону чужой техники и взгляд не бросил. Но теперь вот почему-то все наоборот, может, оттого, что на мировой стандарт равняться начали. И в дорогах, и в автомобилях, и прочей технике. А не подведет ли она в самый нужный момент? Придет время – узнаем...

ФОКУСЫ И ДРУГИЕ ОПАСНЫЕ ОПЫТЫ

Цирк, как таковой, родился далеко не случайно – как несуразное подобие реальной жизни. И совсем не ради смеха, а показа мастерства исполнителей. Грех смеяться над неуверенно идущим пьяным мужиком, а над клоуном, что выделывает разные трюки, совсем другое дело. Но вот фокусы в этом жанре занимают совсем отдельное место, и нет, наверное, такого человека, кто не ломал голову над разгадкой очередного трюка.

Признаюсь, не люблю я загадок. Хоть по жизни, хоть в книгах прописанных. Словно кто над тупостью твоей поиздеваться хочет. Может потому, тянуло меня к себе все таинственное, непонятное буквально с малолетства. Первоначально я пытался скрещивать червей, собирая их в одну кучу и пряча в карманы своего детского пальтишка, где они по моей задумке должны были размножаться. Но первые мои опыты заканчивались тем, что мама с нелестными эпитетами извлекала после моего очередного возвращения с прогулки.

Со временем охладев к разведению червячных колоний, взялся за предметы житейские, что всегда под рукой: смешивал огрызки колбасы и хлеба с сахаром, пытался поджечь, растворить в молоке или воде. Результаты были малоутешительными. Тогда я решил добиться своего и посмотреть, что выйдет, если использовать огонь. Выждав, когда останусь дома один, добавил к остаткам съестных припасов несколько листов газеты, старые тряпки и поджёг их, надеясь получить что-то необычное.

Слава Богу, что родители в тот день вернулись домой пораньше и увидели дым, что валил через окно. Я же, услышав звук открываемой двери, надеясь скрыть следы своих опытов, быстрехонько затолкал дымящиеся тряпки в свой ночной горшок и быстренько, как ни в чем не бывало, уселся сверху. Представляю себе это зрелище, когда родители обнаружили своего ребенка сидящим на горшке, откуда пробиваются клубы едкого дыма. Спички стали убирать от меня подальше, даже прятать, а со мной провели доходчивую воспитательную беседу, что может произойти, если в деревянном доме случится пожар. Для пушей убедительности мама даже приложила мою детскую ладошку к нагретой печке, отчего я громко взвыл и кинулся из кухни, но «урок» этот запомнил на всю жизнь. Тогда я впервые перенес мучения и страдания за свою любознательность. Но образовавшийся на ладошке волдырь, хотя довольно долго не заживал, лишь на короткий срок отбил у меня охоту к подобным экспериментам. За ними последовали другие, как мне казалось, не столь опасные...

...Когда отец выписал журнал «Юный техник», то я сразу же выделил в нем раздел «По ту сторону фокуса», что вел Арутюн Акопян, поняв, именно в этом мое призвание. Сжигать что-то там было не нужно, зато из цилиндра мог таинственным образом появиться голубь, а монета исчезнуть с ладошке фокусника на глазах у изумленных зрителей. Но оказалось, что для постановки по-настоящему интересных для зрителей фокусов требуется масса подсобного оборудования, а еще упорные тренировки и доведение исполнения до совершенства. С этим дело обстояло

хуже. Но все же несколько примитивных трюков освоил и каждый день перед сном массирует пальцы рук, пытаясь придать им гибкость и подвижность. Несколько раз пробовал выступать на школьных вечерах, но зрители из числа моих соучеников после представления, несмотря на мои буйные протесты, тут же выскакивали на сцену и, придирчиво осмотрев мой самодельный инвентарь, легко обнаруживали все скрытые в нем секреты. В результате – полный провал... Уж такова участь артиста: последнее слово всегда за зрителем...

Тогда я переключился на жонглирование. Тоже цирковое искусство, но уже никто не уличит тебя в каких-то там махинациях или хитростях. Начал с теннисных шариков и уже через пару месяцев мог спокойно жонглировать сперва двумя предметами, потом тремя и дошел до четырех, но размеры моей комнатки за занавеской, где и шло обучение, не позволяли развернуться. Хотелось чего-то более эффектного. Выпилил из фанеры специальные кольца, скопировав их с журнальных фотографий, и вскоре довольно легко мог жонглировать четырьмя вращающимися предметами. Уже прогресс!

Но и этого мне показалось мало, хотелось овладеть всем, что использовали на арене настоящие жонглеры. Потому попросил друга отца выточить по собственному рисунку булавы – небольшие палки с шариками на концах. С ними оказалось обращаться трудней, но еще пара месяцев, и булавы начали летать по требуемой траектории, впрочем, иногда сталкиваясь и попадая мне в лоб. Вроде можно было продемонстрировать свое искусство со сцены. Но... понимал, что выступать надо в команде, а выйти одному пусть на две-три минуты, тут нужного эффекта не добьешься. К тому же мешало и природное стеснение, боязнь быть осмеянным в очередной раз. Но, думается, упражнения мои не пропали даром, научив добиваться своего; да и кой-какую ловкость развили, что так или иначе пошла мне на пользу.

Но никуда не исчезло стремление к разным опытам. И потому, когда в школе начались уроки химии и на занятиях стали проводить лабораторные работы с использованием различных химикатов, кислот и щелочей, тут для меня открылась возможность самых немислимых экспериментов, и химия надолго сделалась чуть ли не самым моим любимым предметом. Но если честно, то любовь моя проявлялась больше в баловстве, за что сам бы сейчас своих детей никак не похвалил. Я же тогда вел себя, стыдно и вспоминать, как дикарь, приглашенный к сервированному столу с разными угощениями. Что я делал? Хулиганил самым настоящим образом: брал что попало, клал в пробирку, наливал туда кислоты, а следом щелочи и пр. пр. Все шипело, дымилось, пенилось, чем приводило меня и кучу других учеников в неопишуемый восторг. Настоящая магия!

Сейчас, по прошествии многих и многих лет, мне стыдно за те свои поступки. Видно, очень хотелось удивить всех и самому удивиться тому, что может произойти от слияния двух или нескольких непонятных жидкостей. О последствиях не думал. А по-доброму за такую магию другая учительница просто выставила бы меня за дверь, а эта вот терпела. Поздно, слишком поздно, но каюсь перед ней, благодарю за бесконечное терпение и такт...

А вот последствия моих экспериментов продемонстрировала мне моя соседка по парте, когда уже в выпускном классе показала мне на просвет свой форменный фартук, который оказался насквозь словно прострелянный мелкой дробью, и заявила, что это все результаты «моих дурацких опытов». Вот тогда я испытал неловкость и наконец-то задумался, что мог кому-то, в том числе и себе, причинить вред своими «экспериментами». Но что теперь об этом говорить, слава Богу, что все вот так обошлось...

Но прожженный фартук – это все цветочки в сравнении с тем, что я совершал в неурочное время, добившись у нашей учительницы химии разрешения оставаться после уроков в лаборатории и там самостоятельно ставить различные «опыты». Она хорошо знала мою бабушку и по наивности своей посчитала, что и внук ее такой же спокойный и рассудительный и особых хлопот ей не доставит.

Как она горько ошибалась. Первым делом я нашел в школьной библиотеке руководство по экспериментальной химии еще довоенного издания и буквально был поглощен возможностями, что открылись передо мной. Первым делом освоил опыты с небольшими взрывами при помощи бертолетовой соли и серы. Их смесь растиралась в фарфоровом тигле малого размера и давала весьма эффектные взрывы небольшой мощности. Но как-то я переборщил с пропорциями, раздался страшной силы взрыв, и тигель разлетелся у меня в руках, изранив всю ладонь.

Тут же примчалось школьное руководство, но большого значения этому не придали, тем более что пострадал не кто-нибудь, а сам экспериментатор. Две недели меня и близко не подпускали к лаборатории, но я вел себя паинькой, обещал, что такого больше не повторится, и наша химичка сжалилась. Только взяла с меня слово, что буду ставить ее в известность обо всех готовящихся мной опытах. Бертолетова соль вместе с серой при этом были закрыты на всякий замок, дабы не вызывать у меня лишнего искушения.

Меня же заинтересовало получение белого фосфора, соли которого, нанесенные на отдельные предметы, как сообщалось в руководстве, должны были светиться в темноте. Как мне хотелось занять этот белый фосфор и потом нарисовать им какие-нибудь таинственные знаки на соседском заборе или шубейке одноклассника! А получить это вещество можно было путем сухой перегонки фосфора желтого, что был в наличии в школьной лаборатории, в белый через систему трубочек и разных там охладителей. Схема опыта в том руководстве прилагалась. Дело за малым: проделать задуманное, что, как казалось, вполне мне по силам.

Я поставил в известность свою руководительницу, что желаю заняться перегонкой фосфора, и та довольно легкомысленно согласилась, оставив меня одного, ушла на уроки. Я собрал нехитрую установку и запустил агрегат. Опыт затянулся часа на два. Белый фосфор все никак не желал осаждаться в приготовленной для этого пробирке.

Не знаю, что уж там произошло, но через какое-то время раздался довольно мощный взрыв, вся моя установка разлетелась на отдельные частички, небольшая лаборатория, оклеенная бумажными обоями, окуталась клубами едкого дыма, и из пробирки рванулось пламя, которое

невозможно было погасить ни водой, ни чем-то другим. Вспыхнули обои, а за ними непроверенные ученические тетради, классные журналы, и если бы не срочно приехавшая пожарная команда, применившая спецсредства, неизвестно, пришлось бы нам доучиваться в той же самой школе...

Потом уже, будучи зрелым человеком, узнал, что американцы для бомбардировки позиций вьетнамских солдат употребляли напалм, в основе которого лежит тот самый желтый фосфор. Хорошо, что иностранные корреспонденты не разнюхали об этой сенсации, а то могли напечатать в зарубежной прессе о том, как юный террорист, пробравшись в кабинет химии, пытался с помощью подручных средств уничтожить родную школу.

* * *

После этого путь в химический кабинет был для меня закрыт навсегда. Но, если честно, у меня самого пропал интерес ко всем этим опытам, что вели к столь печальным последствиям. Для Тобольска хватит и одного Менделеева, решил для себя, и химия заняла единый ряд с немецким языком и математикой. Появились интересы иного рода, где можно экспериментировать до бесконечности, причем абсолютно без всякого риска для жизни. То была фотография. Но о ней расскажу отдельно, уж слишком серьезное место с годами она заняла в моей жизни.

Меж тем не оставлял свои занятия в жонглировании и даже пытался ходить по натянутой во дворе проволоке с шестом в руках. А когда в очередной раз оказался в столице, то потихоньку от родственников добрался до циркового училища и узнал, какие экзамены там нужно сдавать, что уметь и на какие отделения будет в этом году прием. Но когда заявил о своем сокровенном желании родственникам, а были они люди почтенные, с учеными степенями, то услышал, что в нашем роду клоунов или там циркачей сроду не наблюдалось и они будут вынуждены прекратить со мной всяческие взаимоотношения, если я вздумаю пойти по этой стезе.

Вот те раз! Об этом я как-то не подумал – о силе родственных связей и традиций... Их высказывание столь удручающе подействовало на мои юношеские представления о жизни, что навсегда забросил все свои цирковые занятия и разговоры о цирковом училище больше не заводил. Не захотел становиться изгоем среди уважаемых и почитаемых мной людей. Так что и мечты о цирке были забыты. Может, оно и к лучшему. Кто знает...

Но после потери интереса к цирку, моя натура требовала иной пищи для моей фантазии и ее творческой реализации. Попробовал себя в поэзии, но стеснялся прочесть вслух кому-либо свои любительские сочинения, заранее понимая их слабость и несовершенство. Участь в институте, переделывал песни для КВН, но это было как-то куцо, быстро забывалось, и особого удовлетворения от этого занятия не получил.

Зато от знакомых ребят в Москве неоднократно слышал рассказы о розыгрышах среди столичной богемы и ужасно завидовал, что не могу

принять в том участия. А первоапрельские розыгрыши были, скорее, нелепы и далеко не безобидны, а потому могли закончиться печально для их автора. Но во мне так и бурлило желание хоть в чем-то этаким проявить себя. И тут один случай представился...

... На старших курсах института у меня случилось юношеское увлечение одной студенткой, которая ответила мне тем же. Мы встречались практически каждый день, бродили по городу, выходили к Иртышу, одним словом, были счастливы. Наступила весна, когда живительный сок пробивается не только в почках на деревьях, но и в каждом живом существе, а уж про мой буйный организм и говорить нечего. И вдруг как гром среди ясного неба: она сообщила, что их курс отправляют на какую-то там практику в близлежащий пионерский лагерь, причем на целую неделю.

Проводил ее до пристани, где их погрузили на небольшой теплоходик, куда без труда вошло около двухсот не очень упитанных студентов, и он направился в сторону пионерского лагеря, где и должна была проходить практика. Оставшись в полном одиночестве, даже представить себе не мог, как переживу столь долгий срок разлуки, и ходил по берегу реки, фантазируя, как бы добраться до этого лагеря и выкрасть оттуда объект своих вздыханий.

Но зная ее дисциплинированность и принципиальность во всем, что касается учебы, понимал, добровольно она эту практику не бросит и вряд ли согласится сбежать со мной из лагеря. Нужен был другой ход... И тут у меня созрел вполне конкретный план, как вернуть обратно ту, без которой, как мне казалось в те годы, не мог и дня прожить. При этом понимал, что рискую быть отчисленным из института за подобный поступок, если он откроется. Но все же решился осуществить его, несмотря на подобную печальную перспективу. Ведь в молодости мы совсем иначе относимся к нашим шалостям и поступкам.

А план был довольно прост: оповестить начальника речных перевозок, ведающего местным флотом, что студентов необходимо вернуть на несколько дней раньше. И неважно, по какой причине. Планы у институтского начальства вдруг вот изменились. И в свою очередь руководство института должно каким-то образом поставить в известность речников, чтоб они отправили за студентами судно раньше обговоренного срока. Только-то и всего...

Найдя свободную будку телефона-автомата, набрал номер нашего речного порта, который и ведал перевозкой студентов в лагерь, и спросил у секретаря имя-отчество начальника порта. Та охотно назвала и то и другое, а затем попросил соединить меня с ним, представившись проректором института. А имя и отчество нашего проректора знал назубок, тем более в этот день высидел две пары у него на лекциях. Когда нас соединили, то, придав голосу солидность, сообщил, что по непредвиденным обстоятельствам студентов из лагеря следует буквально завтра вернуть обратно.

Начальник не возражал, только заявил, что уплаченные деньги обратно они вернуть не смогут. Я тоже не стал возражать по поводу такой малости. Вслед за тем набрал номер проректора и уже другим голосом

с этакой хрипотцой, известил того, что речники вынуждены будут привести студентов раньше назначенного срока, поскольку нужное для их перевозки судно должно быть задействовано на другой срочной перевозке группы рабочих. Со стороны проректора тоже никаких возражений не нашлось. Надо значит надо. Обговорили время, о чем мне непременно нужно было знать, чтоб встретить ту, ради которой и затевалось это рискованное мероприятие.

На другой день я в назначенное время встретил ее на причале и осторожно поинтересовался, с чего это вдруг их вернули раньше положенного срока. Естественно, знать об этом она не могла. Решился поделиться с ней своей тайной, но она отнеслась к этому как-то несерьезно, решив, что я ее разыгрываю. Может, и к лучшему. Представляю, чем бы это могло обернуться, если бы моя афера стала достоянием общественности. А так вроде как все сошло с рук. Но больше на подобные авантюры не пускался. Не потому, что боялся, просто мы с ней скоро расстались, и решил, что далеко не все девушки стоят того, чтоб ради свидания с ними обманывать других людей.

Да, я понимал, что пустился на явный обман, отчего на душе становилось как-то неуютно и даже мерзко. Но авантюризм, живущий во мне, оказался сильнее. Потом, как убедился, с возрастом он проходит, а то и совсем улетучивается. Как и тяга удивить кого-то своим умением, показать свою незаурядность и исключительность.

Не стоят подобные потуги того, чтоб тратить столько времени и душевных сил, чтоб кого-то удивить, обескуражить, мол, а я вот что могу! Но вот в молодости все обстоит иначе, и мне даже чуть жаль тех, кто не испытал этого чувства. Человек, который в молодости не мечтает стать первооткрывателем или изобретателем чего-то там эдакого, необычного, отчего бы открыли рты все окружающие, — это, на мой взгляд, некая ущербность, ограниченность, и отказываться от своих былых подвигов не собираюсь. Хотя, не очень-то и горжусь ими...

ВЕРХИ И НИЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Казалось бы, высшее образование мало чем отличается от школьного. И там, и здесь чему-то учат. Вот только учат по-разному, поскольку в высшей школе в то время, когда мне выпало оказаться студентом, атмосфера, и соответственно люди, очень и очень отличались от школьных учителей. И не только знанием, а отношением к нам, студентам, не всегда понимавшим и половину из их лекций. Они были опытнее и мудрее и понимали, научить чему-то человека за четыре года практически невозможно. Разве что показать ему бесконечность теоретических знаний. Тот, кто пожелает идти дальше по этим бесконечным научным лабиринтам и даже посвятит тому всю свою жизнь, и то не до конца во всем разберется. И, что говорить, далеко не каждый сделает, хоть малое, но открытие. А со студента и вовсе взять нечего. Усвоил азы, и ладно, уже хорошо. И я бесконечно благодарен им за это. За их мудрость, терпение и снисходительность. За доброе к нам отношение...

У любого школьника слово «институт», а тем более «университет», вызывает священный трепет. По крайней мере, мне казалось, что там, в вузе, все иначе, нежели в школе, и тебя непременно научат всему, что будет востребовано, принесет какую-то пользу. Особых предпочтений насчет выбора профессии у меня к окончанию десятого класса как-то не сложилось, и когда бабушка несколько раз настойчиво заводила беседу о том, что хорошо бы мне стать врачом, воспринял это как сигнал к действию. И уже готов был ехать в любом направлении, лишь бы скорее вырваться из дома. Но мой неумеренный пыл охладила мамина реплика, что учить меня она просто не сможет, и лучше, если устроюсь простым рабочим в любую из местных организаций. Такой расклад меня точно не устраивал, поскольку при всей своей оголтелости и плохом знании жизненных перипетий понимал, там я наверняка долго не задержусь.

Начитавшись разной научно-популярной литературы, что время от времени подкладывала мне на полку бабушка, в тайне грезил совершить какое-нибудь открытие и тем самым осчастливить все человечество. Но выбор у меня был невелик. Если оставаться в Тобольске, то единственное высшее заведение – наш пединститут. А факультетов там всего два: филологический и физмат. С русским языком у меня были нелады с самого юного возраста, но и физика с математикой тоже не входили в число любимых предметов. И опять сыграло роль решительное бабушкино слово. Логика ее была очень проста: «На филфаке одни девочки, и тебя там быстро совратят, а потом и жениться придется. А после физмата ты можешь стать инженером или еще кем-то стоящим». И опять же, будучи мальчиком послушным, я воспринял ее слова, как Моисей ветхозаветные каноны. Сдал экзамены и был зачислен.

Однако вместо лекций часть августа и весь сентябрь мы провели на местном кирпичном заводе в качестве подручных рабочих. Меня поставили нарезать кирпичи из глиняного хобота, подаваемых на станок по транспортеру. Некое подобие хлебoreзки, только вместо ножа натянута проволока. Работа казалась не в тягость, тем более какие-то деньги, но нам заплатили. То был первый взнос в моей жизни в семейную копилку.

Когда начались занятия, то мы с удивлением увидели, что кроме нас в группе, прошедшей кирпичную практику, за партами сидит множество студентов, намного старше нас по возрасту, как тогда казалось, «пожилых». Держались они особняком и на занятиях показывались далеко не каждый день. Позже выяснилось, что почти все мои одноклассники успели поработать, и нас, пришедших прямиком в институт из-за школьной парты, всего-то трое или четверо человек. Потому, наверное, дружбы, не то что крепкой, а даже обычных теплых отношений у меня с ними как-то не сложилось. Но вот в гостях у меня перебивали практически все и не один раз. Бабушка непременно каждого нового гостя чем-нибудь потчевала и старалась сунуть бутерброд с собой на дорогу.

А вот на первой сессии я лишний раз убедился, что точные науки не мой профиль. Обществоведение, историю, психологию и геометрию сдавал если не на пятерку, то на вполне приличную оценку. Зато матанализ с формулами на полстраницы мой разум отказывался воспринимать. Все эти закодированные значки казались мне чем-то нереальным,

придуманым и в жизни абсолютно не востребованным. Опять же помог репетитор, один из старых папиных друзей, что частенько забегал к нам просто поговорить с родителями. Он сумел как-то разъяснить мне тайный смысл громоздких формул, и я с грехом пополам прошел и через это испытание.

Удивительно, но в то время практически все преподаватели были мужчины. Женщин же было всего ничего, и мы их почему-то побаивались, поскольку именно от них и шли всяческие неприятности. Главное, что в сравнении со школой нас, рядовых студентов, воспринимали как-то иначе. Не сказать, что как равных, но как будущих коллег, будет точнее. Кто-то даже обращался на «вы». И никаких назидательных речей, моралистики, назидательности. Совершенно другой уровень и, соответственно, подход. Теперь это называется гуманной педагогикой, где тебя не выворачивают наизнанку, а терпеливо объясняют, показывают, просят повторить. И еще наши педагоги не скупались на похвалы. На улыбки. На сочувствие. И предлагали работу. Кому простым лаборантом, а кто посообразительнее, тем давали темы по какой-то научной тематике.

Меня уже в сентябре зафрахтовали на полставки в наблюдатели станции ИСЗ (искусственных спутников земли). Сама станция находилась на верхнем этаже тогдашнего Дома пионеров и подчинялась непосредственно Академии наук СССР. К тому же это буквально в нескольких десятках метров от моего дома. Опять же лишняя копейка в семейный бюджет. На работу нужно было выходить через ночь. С раннего вечера и до утра. Пока не рассветет. Потом составлять телеграмму с координатами пролетавших над нами спутников (зашифрованную специальным цифровым кодом) и сломя голову нестись на почту, находящуюся в подгорной части города, а потом так же пешком возвращаться домой, чтобы хотя бы часок соснуть до начала лекций. Великую радость испытывал, когда «неба не было», как выражался мой начальник. То есть небо оказывалось сплошь затянуто облаками, и можно было поспать вволю. Тогда, наверное, и испортил свой сон, и всю оставшуюся жизнь мой режим шел с перекосом на ночные бдения. Доработал до весны и отказался. Понял, дальше такую нагрузку не выдержу...

И еще мне повезло оказаться в числе наблюдателей полного солнечного затмения, что в октябре, когда учился на втором курсе, произошло в нашем регионе. И опять меня пригласили участвовать в наблюдениях, но не визуальных, а следить за прохождением радиоволн по показаниям приборов в момент, когда солнце было некоторое время закрыто лунным диском. Каждые 15 секунд следовало делать запись с приспособленного для этого милливольтметра. Данные отправили куда-то в Москву, а мне посоветовали по тем результатам написать работу. Это было уже что-то околонуучное. Собрав все данные, доклад написал и, гордый данным фактом, с пафосом выступил с докладом на студенческой конференции. И... получил по полной от однокурсников, с усмешкой воспринявших мое выступление. Видимо, посчитали, что тем самым втираюсь в доверие к преподавателям. Тогда не придал этому большого значения, но потом, на последнем курсе, мне то выступление припомнили.

Следующим моим увлечением стала, как ни странно, психология. Ее у нас вел очень пожилой преподаватель, по не известной мне причине перебравшийся в Тобольск из Москвы. Он подсовывал мне разные полезные книги по своей тематике, а мое воображение уже само подсказывало тему, которая, как мне казалось, не была до конца исследована. К примеру, заинтересовало влияние освещенности классов в разных школах на качество получаемых учениками оценок. Произвел во всех школах с помощью лабораторного люксметра измерения, результаты занес в таблицу, а рядом проставил процент средней успеваемости по классам. Результат, хоть и был предсказуем, но поразил всех. Особенно директоров школ. В плохо освещенных классах годовые оценки были гораздо ниже. И хотя, как оцениваю те свои исследования с сегодняшних позиций, особых открытий мной совершено не было, меня пригласили на студенческую конференцию в Тюмень и даже вручили там какой-то приз. Но в школы после этого приказано было меня не пускать.

Поняв, что на этом моим исследованиям пришел конец, зацепился за совсем сногсшибательную тему: восприятие людьми времени. Ни я сам, ни мой руководитель не могли ответить на простой вопрос: каким органом чувств человек воспринимает время. А мне хотелось выяснить именно этот сокрытый от науки факт. В институте мне дали небольшую комнатку для экспериментов, а потом знакомый директор пустил-таки меня в свою школу и разрешил проводить испытания на всех учениках. Методику я разработал сам, сделал даже небольшой стенд и, что называется, прогнал через него сотни две учеников самых разных классов. Данные опять же заносил в таблицу, и их набралось две толстые папки по 200 или 300 листов, сплошь покрытых цифрами. Но что с ними делать дальше и как обрабатывать, обобщать, на это моего опыта не хватило.

Тем временем мой престарелый руководитель заболел и срочно уехал обратно в столицу, а на его место прибыл молодой психолог. Показал ему свои труды, он заинтересовался и подкинул мне несколько формул, до которых без его помощи я вряд ли когда докопался. Кроме того, он выделил мне в помощь несколько студентов, и мы сообща просчитали собранные данные, по предложенным формулам вывели графики, начертили таблицы, и работа наша предстала в совсем ином виде. На сей раз меня уже пригласили на конференцию психологов Урала и Сибири в Екатеринбург. Там несколько солидных ученых заинтересовались моими исследованиями, предложили поступать к ним в аспирантуру и продолжить обучение, работая по начатой мной теме. Но... к тому времени мои интересы были далеки от научных изысканий, и вновь садиться за парту мне не хотелось ни под каким предлогом.

Дело в том, что в те самые годы в Тобольск проложили железную дорогу. В аккурат, когда учился на третьем курсе. В день прихода первого поезда нас с еще одним сокурсником вызвал с лекций преподаватель, занимавшийся вполне профессионально фотографией и даже умеющий снимать фильмы на любительскую кинокамеру. Он видел, что я не расстаюсь с отцовским фотоаппаратом, и решил подключить меня к фиксации исторического момента прибытия в город первого поезда. И хотя я тогда понятия не имел, как этой самой кинокамерой пользоваться, но

тут же согласился. За пять минут нам объяснили, куда нужно нажимать, как наводить резкость, и мы были отправлены заряжать кассеты кино- пленкой. Процесс зарядки первых отечественных кинокамер оказался не столь легким, как может показаться на первый момент. Нужно было в полной темноте вставить киноленту в разные барабаны, зажимы и пропустить через несколько роликов. Но, несмотря ни на что, мы справились.

Потом на попутках доехали до места, куда должен прибыть по новому железнодорожному мосту через Иртыш первый поезд, и смешались с толпой горожан и чиновников самых разных рангов. Показался поезд, я нажал на нужную кнопку, и через несколько секунд кассету заело. Вставил другую, вроде снял, помчался к ораторам, что толпились возле трибуны. Тоже щелкнул несколько раз и довольный собой стал ждать приятеля, который где-то задержался.

После проявки пленки выяснилось, что я снимал, как обычно фотоаппаратом. И на пленке сохранились кадры длительностью в несколько секунд. Этакое моментальное кино. Меня высмеяли. Но на этом не успокоился, выпросил кинокамеру домой и начал снимать все, что видел вокруг. Научился составлять растворы и проявлять кинопленку, после чего процесс кино съемки, как вирус, вошел в меня и не покидал почти два десятка лет. Вот почему перспектива стать кинооператором вытеснила из меня робкий силуэт научного работника. Но, как оказалось, не навсегда.

А еще время нашего обучения совпало с эпохой зарождения КВН. На маленьких мутных экранах с черно-белым изображением мы все наблюдали каждое выступление команд. Дошло это поветрие и до нашего скромного вуза. В группу пришел декан и шутя пообещал, что тем, кто будет участвовать в выступлении на конкурсе местного КВН, стипендию будут выдавать на день раньше. И уже серьезно добавил: «Надо, ребята».

Староста составила список и объявила себя капитаном. Меня тоже записали. Но староста не умела сочинять что-то похожее на стихи и рассказывать смешные истории. А у меня, хоть и не очень, но что-то получалось. Потому наш куратор, присутствующий на репетициях, поставил меня во главе команды. И этот факт наша староста припомнила мне на последнем курсе перед самыми госэкзаменами. А так мы четыре года подряд выходили на сцену веселить зрителей. Ко мне даже обращались студенты старших курсов, чтоб помог им для выступления переделать какую-нибудь песенку или сочинил шуточные куплеты. Тогда я еще не понимал своего предназначения и даже стеснялся своего сочинительства.

А вот четвертый, последний курс стал для меня серьезным испытанием. Среди преподавателей нашего факультета появилась единственная женщина, отвечавшая за практику в школе. Уроки мы давали еще год назад, и никаких особых проблем с этим у меня не было. Бабушкина школа и ее постоянные советы, наставления давали себя знать, и с вверенным мне классом сошелся достаточно легко, вел себя как заправский учитель. Но новой методистке что-то не понравилось в моих уроках. Может, моя манера ведения урока, может, какие другие мои качества, а может, и староста чего нашептала. Буквально каждый мой урок она

разносила в пух и прах, сколько я ни старался изложить все как положено. У моих сокурсников уроки проходили ничуть не лучше, некоторые вообще убегали из класса и ни под каким предлогом не хотели идти обратно. Но все они были допущены до госэкзаменов, а меня в списках не оказалось. Декан, знавший меня чуть ли не с детства, отправил меня к другому методисту, и я дал положенные уроки под его приглядом без сучка и задоринки. Но непримиримая дама стояла на своем, не желая допускать меня до экзаменов, и уж как ее уломали, даже не знаю. Но и на экзаменах она комментировала каждый мой ответ с брезгливым выражением на лице. Но, слава Богу, диплом мне, как и всем, вручили.

А еще за месяц до «госов» меня вызвал к себе в кабинет не кто-нибудь, а сам ректор и показал письмо от нашей старосты, где подписались еще несколько человек, но, что радовало, далеко не все. Там меня обвиняли едва ли не во всех смертных грехах: откальываюсь от коллектива, заискиваю перед преподавателями, не участвую в общих мероприятиях и так далее и тому подобное. Растерянность моя была полной, и передать, что я тогда испытал, просто не могу. Даже не ожидал, что едва ли не полгруппы, как это сформулировал один из героев фильма «Мимино»: «испытывают ко мне личную неприязнь». Ведь все они были у меня в гостях, ели бабушкины нехитрые угощения и вдруг...

Не ведал я тогда еще о печальной и гадкой традиции граждан моей страны писать наветы на ближних своих. Не сказать в лицо, мол, так и так, ты неправильно поступаешь, обижаешь нас, меняй курс. А сесть и настрочить донос начальству и выбрать для того самый подходящий момент. Понятно, ректор пожурил меня за то, что не могу найти общий язык с коллективом. Я же не знал, что сказать в свое оправдание, и только пожимал плечами. Самое интересное, что несколько преподавателей сочли нужным заступиться за меня. Они пришли в нашу группу в мое отсутствие и о чем-то там поговорили с моими однокурсниками. Староста вроде притихла. Но у меня в памяти этот шрам остался и нет-нет, а дает знать о себе...

После вручения дипломов все разъехались, и никого из своих сокурсников, как ни странно, больше не встречал ни разу. Видать, Бог милывал. Потом уже, научившись отличать белое от черного и многое в жизни повидавши, знал, как можно ответить на подобные письма. Но... поздно. Да и что бы это дало? Слишком по-разному мы относимся ко всему с нами происходящему, потому и дороги у всех нас оказались разные. Обиды нет. Тут нечто другое, скорее всего, классовая несовместимость, как говорили большевички в свое время. И хорошо, что случилось это все в благодное брежневское, а не сталинское время. Иначе... наверняка бы продолжил череду арестантов своего рода. Можно сказать, повезло, что родился на пару десятков лет позже.

В ПЕД НА ВОСЕМЬ ЛЕТ

В юности кажется, что жизнь столь коротка и скоротечна, что каждый день следует сверхплотно заполнять какой-то работой, а если ее у тебя нет, срочно найти приложение своих сил. Потому, получив диплом учителя и оставшись в Тобольске, я хотел вот так сразу,

хоть завтра же начать работать. И неважно, где, кем, на какой должности. Главное – быть принятым на работу. Но и тогда с трудоустройством было не так-то просто. Потому, когда хороший знакомый нашей семьи, занимавший должность директора педагогического училища, предложил мне на первых порах место лаборанта, согласился, не раздумывая. А в самом начале учебного года мне неслыханно повезло, потому как один из педагогов неожиданно уволился и всю его нагрузку передали мне. И, как довесок, классное руководство в одной из групп первокурсников.

Но по прошествии двух дней после начала занятий всех первокурсников собрали в актовом зале, где объявили, что завтра всем им следует явиться в рабочей одежде, включая их классных руководителей. После собрания ко мне подошли несколько дам предпенсионного возраста и любезно попросили взять на себя присмотр за их группами. Отказать им не смог, не представляя, какую несусветную ответственность взваливаю на себя. Шел мне тогда двадцать первый годок, а моим подопечным чуть-чуть меньше. И все-то они были исключительно женского пола.

На центральной усадьбе все четыре группы, за которые по глупости своей взялся нести ответственность, разбросали по разным деревням. Расстояние меж ними было не так велико (от 7 до 15 км), но чтоб везде побывать в течение дня, нужно было иметь навыки марафонца или какую-нибудь технику типа мотоцикла. Председатель колхоза с усмешкой выслушал мою просьбу, хмыкнул и написал записку, с которой и отправил просителя на ферму к конюху. Тот выдал мне необходимое транспортное средство, именуемое жеребцом Орликом. Плюс уздечку и седло к нему.

Я был совсем не против такого поворота событий и, взнуздав жеребчика, со знанием дела закрепил седло и вскочил на него, сдерживая застоявшегося коня. Дело в том, что на покосе мне приходилось ездить верхом, а потому некоторый опыт у меня имелся. Да и опростоволочиться перед насмешливо наблюдающим за мной конюхом тоже никак не хотелось. И, недолго думая, отправился с объездом по всем точкам, где работали мои студенточки. К вечеру, вернувшись обратно, с трудом сполз с взмокшего животного и на согнутых ногах едва дошел до дверей. На другой день было то же самое и так до конца сентября.

«Вот было бы хорошо, – думалось мне тогда, – если бы нам в институте вместо мудреных основ матанализа и теоретической физики преподавали бы верховую езду. Мне бы те занятия сейчас очень пригодились...» На мое счастье никто из студентов не заболел, не покалечился и не был укушен змеей или иной тварью. В то время такая мысль мне даже в голову не приходила. И лишь потом, изрядно повзрослев, понял, случись с кем-то из моих подопечных хоть что-то, не миновать бы мне тюремных нар. Но, Господь милостив, пронесло...

И все мои восемь лет работы в педучилище начинались сентябрьским призывом: «Все на картошку». Из года в год. И мы, преподаватели и студенты, покорно, как осужденные на тяжкий труд каторжане, не пикнув, отправлялись в очередную деревню спасать урожай, поскольку никому, кроме нас, до него, похоже, дела не было. Изредка к нам наведывались

пузатые проверяющие из райкома, обкома и еще откуда-то, но ни разу не пришлось слышать от них слов похвалы или сочувствия. Только одно: «Давай, давай, поторапливайтесь...» Чем не барщина на помещичьей усадьбе, за которую не платили ни копейки? Хорошо хоть изредка, кроме все той же картошки, на обед девчонкам давали крупы и макаронны. Мясо? Такого продукта в студенческом меню не помню...

А с октября все они сели за парты. И я занял место за учительским столом или у доски. По ситуации. После уроков обязательные занятия с отстающими, а таких хоть пруд пруди. Все из деревень, таблицу умножения и то знали абы как. По-русски писали с такими ошибками, вообще непонятно, как их зачислили после вступительных экзаменов. И кто только выдумал, будто бы советское образование было лучшее в мире?! Где же тогда было худшее? Но в конце учебного года от нас, преподавателей, требовали высокий балл успеваемости по всем группам. Откуда же он возьмется, когда по-доброму половину учеников следовало без лишних слов отчислить по причине их полной неподготовленности и профнепригодности. Но нельзя! А то, чего доброго, отчислят тебя самого, как не разделяющего взгляды руководящей партии о всеобщем обязательном образовании.

Наш директор, принявший меня в свое время на службу, был человек интеллигентный, к тому же из числа ссыльных, о чем я узнал гораздо позже. Потому хорошо понимал, что дразнить гусей, тех, что сидели в облоно и строго контролировали процент успеваемости в каждой школе, ПТУ и прочих образовательных учреждениях, себе дороже. Знали о том и все педагоги, проработавшие не один год в стенах славной кузницы педагогических кадров, и каким-то чудесным образом успеваемость у них была в нормах тех показателей, что от всех нас требовало руководство. Я же по молодости и неопытности пытался вдолбить в головы своих подопечных хотя бы три закона Ньютона и растолковать их смысл. Бесполезно!!!

Как тут опять не помянуть недобрым словом пресловутый матанализ и основы теоретической физики, которые нам вдалбливали несколько лет подряд. Могу абсолютно честно заявить, что мне они за восемь лет преподавательской работы негодились. Ни разочка! Спрашивается, зачем же нас грузили этими сверхсложными предметами вместо того, чтоб разобрать и проанализировать каждый урок, что нам предстояло вести по своему предмету. Да, была педагогика и даже методика преподавания, но с какими-то расплывчатыми выводами и обобщениями. Нет, действительно нужных и полезных программ для педагогических вузов у нас до сих пор не выработано, и будет ли это сделано, большой вопрос. Но это лишь мое частное мнение, может быть, есть и другие. Готов выслушать.

Мой старший коллега, что вел те же самые предметы, безжалостно ставил в журнал буквально на каждом уроке двойки всем по порядку согласно списку. А потом выходил довольный и спрашивал: «Ну, как я их нынче? Хорошо прищучил?» Причем в классе при этом стояла такая гробовая тишина, ни звука! Все воспринимали свои двойки, как заслуженное наказание. Естественно, я пытался перенять такой подход и тоже,

грозно сдвинув брови, вопрошал: «Айтнякова, к доске. Ах, не знаешь? Садись, два. Борисенко... Не знаешь? Два балла...» – и так до середины списка. Всему классу ставить двойки считалось дурным тоном. Хотя бы двум-трем человекам, но следовало поставить оценки положительные.

Но вот если моему старшему коллеге такая расправа с безропотными учениками сходила с рук, то меня распинали за низкую успеваемость на каждом педсовете, профсоюзном собрании и на любом публичном сборище делали из меня изгоя и никчемного преподавателя. Особо меня невзлюбила вторая по значимости после директора дама, заведующая учебной частью. Попросту – завуч. То была тетка в годах, завзятая курильщица и знающая толк в крепких напитках, в чем любой мог убедиться во время коллективных праздничных пирушек, откуда ее буквально выносили на руках. Наверх она пробилась благодаря каким-то там родственным связям в городской партноменклатуре. Таких трогать было опасно. Да никто и так ее не трогал, зная, чем это ему грозит.

Муж ее, фронтовик, отличный мужик, при всей свирепости своей супруги не мог и дня прожить без спиртного, но умудрялся как-то создавать видимость проведения занятий, оставляя вместо себя старшую девочку из группы, и она по учебнику диктовать главы с описанием устройства кинопередвижки. Директор наверняка знал об этом, но терпел. До поры до времени.

Но однажды бывший фронтовик хватил лишнего даже для его нестигаемой в боях с зеленым змием натуры и, зайдя в свою каптерку, закрылся там. Потом события развивались примерно, как в мультфильме «Жил был пес», когда сидевший под столом волк от избытка съеденного заявил: «Щас спою!» И запел хриплым фальцетом «Катюшу» через училищный усилитель, который вещал на все учебное заведение перед началом занятий последние новости в стране и мире. Прерывать новоявленного певца никто не мог, поскольку он наглухо закрылся в радиорубке. И ученики, скрывая улыбки, дослушали песню до конца, пока кому-то не пришлось в голову обесточить все учебное заведение.

Дверь взломали, вызвали машину и затейника благополучно увезли домой. На другой день появился приказ о его увольнении. А еще через день другим приказом меня назначили на его место. Ясно дело, что его супруга на посту завуча данный факт посчитала несправедливым, и репрессии в мой адрес возросли втрое. Мне пришлось испытать все прелести бесправного рядового педагога в лице следящей за каждым моим проступком начальницы.

Она избрала беспроигрышный вариант моего постоянного унижения и уничтожения как личности, беспардонно заявляясь на каждый мой урок к 8 утра, естественно, без предупреждения. И сидела от начала и до конца. Все сорок пять минут. Что-то записывая в общей тетрадке. Потом мы шли в ее кабинет, где следовал «разбор полетов». Ни один из них не был оценен выше двух баллов. Плюс ее публичные выступления на всех собраниях с критикой о моем низком уровне как педагога. И хотя в физике или математике она ничего не понимала, то отыгрывалась на внеклассных мероприятиях, на слабом оформлении кабинета или иных не имеющих прямого отношения к обучению вещах. Ничего подобного

от своих коллег мне слышать не приходилось, а по поводу нападок завуча они лишь тяжело вздыхали, констатируя: «Не повезло тебе, брат, терпи...» И я терпел, пока мог.

Даже не знаю, как я выжил все эти годы. Большой пытки и унижения мне в жизни выносить не приходилось. Видимо, природный оптимизм и заложенное с детства чувство постоянной вины перед старшими коллегами спасли от самоубийства или чего-то подобного. Но через восемь лет, понимая, что нахожусь на грани, подал заявление на увольнение. И подался, как говорится, на вольные хлеба...

Да, добавлю, с возрастом, сам испытал репрессии неумолимого завуча, как-то помягчал и к студентам стал относиться уже вполне лояльно, хорошо понимая, вряд ли им когда-нибудь пригодятся эти самые законы Ньютона в их деревенской учительской жизни. А вот бесправные горстки загнанных на поля студенточек в телогрейках и рваных куртках, с руками, испачканными по локоть землей, ободранные беспощадными сорняками, так и стоят перед глазами. И никому ведь в голову не пришло заявить, мол, не наше это дело картошку копать, не для того мы учиться поступали.

Партии виднее было, куда и кого направлять, и спорить с ней было чревато. Да никто и не пытался... Потому, когда кто-то вдруг начнет вспоминать, как хорошо жили «в те времена», когда квартиры давали бесплатно, и на курорты отправляли, и зарплату вовремя платили, то хочется в ответ сказать, что при всех перечисленных благостях не было главного – уважения к человеку. Они, руководители, за людей нас не держали, полагая, им все дозволено. Потому и не выдержал народ такого. Его, народ, не обманешь любыми подачками, он свое слово, пусть поздно, но скажет...

КЛАДБИЩЕНСКИЕ МОТИВЫ

Слово «клад» и «кладбище», как это легко можно заметить, происходят от одного корня – «класть». Но было в старину и другое обозначение мест погребения усопших – «погост». Неслучайное и глубокое по смыслу слово, намекающее на временное земное пристанище для всех, покинувших этот мир. Этакий постоялый двор, если хотите, гостиница перед дальней дорогой. Не более и не менее. Куда затем должны отправиться постояльцы этого заведения, пусть каждый догадается сам. Впрочем, существовали когда-то и «божедомки» – от слов «Божий Дом», и «скудельни», получившие свое название от одной из евангельских притч. Но все это имеет далеко косвенное отношение к предмету нашей беседы, речь же пойдет о другом.

Начав свое повествование с этимологических основ этого скорбного слова, пытаюсь показать, что отношение русского народа к этому священному месту было не всегда однозначным. Да и разные народы подходят к местам захоронений своих предков ой как по-разному. Вспомним геометрически выверенные, словно клетки на шахматной доске, католические и протестантские кладбища, где даже присесть родственникам, пришедшим к родной могилке, и то негде. И наши, православные, едва

ли не парковые зоны, ни на какие другие аналогичные некроансамбли не похожие.

Безусловно, я далек от мысли выражать восторги по поводу нынешнего состояния большинства этих мест скорби, где порой царит режущая глаз неухоженность, отсутствие даже маломальского порядка и пригляда местных властей. Но мне повезло застать то время, когда Тобольское Завальное кладбище выглядело совсем иначе. Да заодно поясню, что ударение делается на первом, а никак не на втором слоге, поскольку находилось оно за городским валом. До XVIII века кладбища были возле каждого храма: Спасское, Рождественское, Пятницкое и пр. пр. А это на городской оконечности получило название не по названию храма, а географического местонахождения: Завальное. И вот теперь все новоявленные тоболяки почему-то считают, что свое наименование оно получило от глагола «заваливать». Слава Богу, мудрый русский народ своих умерших не заваливал землей, а «погребал». Вспомним первые горсти земли, что близкие усопшему люди бросают именно ладонью, горстью, отсюда и слово «грести», «загрести», «погребать». Скорбно и торжественно. Без какой-то излишней спешки. Может, в иных местах данное действие происходило иначе, Бог им, как говорится, судья.

Да, мне так много хотелось бы сказать об этом важном лично для меня, да, думается, для многих месте, и потому прошу прощения, что уклонился в разъяснения и поучения.

Так вот, Тобольское Завальное кладбище для всех горожан даже в самые махровые годы разгула атеизма оставалось местом священным. Даже кладбищенский храм большевики не посмели тронуть, и он выполнял во все безбожные времена свою прямую функцию: провожал в мир иной всех, кто попадал за кладбищенскую ограду. И пусть кто-то считает, что Бога нет. Когда человек после своего рождения окрещен, он ежедневно и ежеминутно должен быть готов к смерти и отпеванию его в должный час. И верить в это. А пока жив хоть один верующий человек, Бог будет с нами. Не станет Его, исчезнем и мы как вид...

... Во времена моего детства и молодости кладбище наше выглядело совсем иначе, нежели сейчас. А может, я по молодости лет иначе воспринимал его. Оно было частью нашего быта, житейского уклада, и какая-то непреодолимая сила влекла меня туда. Хотелось пройти под склонившимися ветви березками, глянуть на свежие могилки, оставив в памяти отметинку, кто из знакомых не столь давно покинул этот мир, дойти до родной оградки, постоять, поговорить, побеседовать с дорогими тебе людьми. Ведь оттого, что их не стало рядом с тобой, они никуда не исчезли, они просто успокоились, устранились от суетных земных дел. Впрочем, кто знает, насколько мы лишены их влияния... На этот счет у меня есть своя точка зрения, но опять же не время пускаться в рассуждения на этот счет...

Сразу за кладбищенскими воротами вплотную к обступившим его могилкам стоял старинный двухэтажный дом из толстенных, почерневших от времени бревен, и жили там обычные люди, не известно почему и каким образом попавшие в заповедный уголок тихого по всем канонам патриархального Тобольска. Лица некоторых из них накрепко запали в

мою память. Не могу ответить, почему именно они, а не чьи-то иные, но это так. Может, как раз в силу необычности их места жительства.

К посещению кладбища меня приучила бабушка. Это были практически регулярные воскресные походы, как зимой, так и летом, заменявшие, как понимаю, нынешние ставшие для многих обязательными церковные службы. К слову сказать, не припомню случая, чтоб бабушка когда-то переступила порог храма. Судя по всему, не позволяли ей совершить этот вполне заурядный поступок традиции той семьи, в которой она выросла, и, конечно же, тотальный атеизм советского времени. Может, ей просто не хотелось выделяться из тонкой прослойки городской интеллигенции, к тому же с клеймом жены и матери прошедших через зону мужа и сына. А вот посещение родных могил — совсем другое дело.

Хотя, если разобраться, и в храме, и стоя у могил родственников, человек так или иначе обращается к Богу, поминая усопших. Для большинства людей, будь они верующие или лишь соблюдающие православные обряды, в любом случае это священнодействие, совершаемое не по принуждению, а по воле сердца. И вряд ли кто назовет поход на кладбище чем-то формально-традиционным.

Формализовать можно все: и Господа Бога, и молитвы, и покаяние, кроме душевных порывов и откровений. А по их проявлениям как раз и можно судить, насколько твоя душа заскорузла, скукожилась, или же еще осталось место для ее свободного полета. И кладбище — это именно то место, куда просится душа, пока ты не завалил ее своими вечными земными заботами, не загнал под слой скопившегося жирка и вообще перестал слушать и отзываться на ее призывы побыть в одиночестве, подумать о вечном.

Нет, эти мои слова не направлены кому-то в укор, а тем более обвинение, то опять же мои собственные размышления, как легко лишиться единственного, что связывает нас с иным миром, где все мы рано или поздно окажемся...

Почему-то чаще всего на кладбище мы с бабушкой отправлялись зимой... Нет, были и летние походы, но какие-то более скоротечные, обремененные различными хлопотами: уборкой сухой травы, листьев, занесенных ветром в оградку, прополкой сорняков меж могилками, посадкой цветов, покраской памятников, оградки и пр. А вот зимой... Зимой кладбище пустовало. Имеется в виду от посетителей. Те, кто там прописан навечно, никаких помех нам не создавали, не отвлекали разговорами, как то частенько случалось в летнее время, когда встречался словоохотливый знакомый. Да и внешний вид оно имело более чинный, можно сказать, торжественный, вызывающий внутри тебя точно такой же покой, смирение и почтительность к тем, кого ты помнил или знал по бабушкиным рассказам.

Оградка, которую отец начал готовить буквально за несколько месяцев до своей гибели, словно создавал, что это его последнее прижизненное дело, была довольно значительна по размеру, выполненная в виде чугунных столбиков, к которым крепились решетчатые пролеты, изготовленные довольно искусно, но без особых претензий, со вкусом

и в строгом классическом стиле. Думается, таким и должно быть все, имеющее отношение к вечности: неброским, но крепким и надежным. Устанавливали ее тем же летом друзья отца, внося свою лепту в память о нем.

До этого оградка была деревянная, начавшая подгнивать и кривиться. И меньшая по размеру. В ней помещались могилки бабушкиного младшего сына, умершего в юности, ее мужа и тетушки, жившей последнее время вместе с нами, Марии Кесаревны, родной сестры бабушкиного приемного отца. Рядом, чуть в стороне, были похоронены бабушкины приемные родители, вырастившие ее с первых дней жизни, удочерившие, которых она беззаветно любила и почитала, впрочем, как и они ее. И там же рядом с ними помещалась уже потерявшая свои былые формы могила ее любимого дядюшки, «дяди Коли», биографию и карьеру которого она часто приводила мне в пример. Он дослужился до титулярного советника, что дало ему право на личное дворянство, и, как узнал много позже, имел он ряд правительственных наград. Естественно, дореволюционных.

Потом уже оградка наша стала полниться родными и близкими. Благополучно вместила и саму бабушку, и нашу маму, и бабушку с материнской стороны, перевезенную из-под Ростова.

А в ту давнюю пору бабушка в моем сопровождении шла к своим особо близким ей людям: двум сыновьям и мужу. Если это было зимой, от меня требовалось прокопать в снегу дорожку внутрь оградки и расчистить ее изнутри. Лопату мы просили обычно в том самом кладбищенском доме и потом возвращали ее обратно. При этом бабушка непременно вручала хозяевам незначительную плату, приготовленную заранее. Наверняка они бы и так разрешали воспользоваться своими инструментами, но то была традиция. Хорошая, как мне кажется, традиция, опустить деньги пусть не в церковную кружку или подать на помин души, а дать несколько копеек конкретному человеку за его инструмент, который он содержал и холил и доверял нам, зная, что вернем в целостности и сохранности. Привычка благодарить за доброе к тебе отношение. Потом мы столь же чинно, не спеша, возвращались с просветленными лицами домой обычно пешком, а когда бабушка плохо себя чувствовала, в редких случаях ехали две остановки на автобусе.

Но самое интересное со мной стало происходить потом, когда уже более-менее обрел самостоятельность. Одно из первых свиданий, еще будучи учеником старших классов, назначил своей девушке не где-нибудь, а именно на кладбище. И первый раз узнал, что такое поцелуй. На небе светили яркие весенние звезды, воздух был настолько пьянящий, что до сих пор вспоминаю его запах, только теперь он уже все реже и реже приходит ко мне, сколь бы буйной ни была весна или даже случайное увлечение.

А тогда без всяческого смущения мы сидели на покрытой снегом лавочке среди могил и без зазрения совести целовались. Может, мне хотелось приобщить к своему счастью и моих предков, чтоб и они, взирая сверху, тоже испытали щемящее чувство радости за нас, молодых. Нисколько не стыжусь того неосознанного порыва повести свою

первую девушку не в кино или теплый подъезд, а именно к тем, благодаря которым живу на этой земле. И, считаю, мне не в чем укорить себя за те недолгие чудесные минуты, которые живут во мне и по сию пору... Память, она многогранна, и не нужно ее стесняться...

И еще одно откровение... Кладбище сделалось для меня неким священным местом. Как молодожены идут с цветами к вечному огню, так и меня в самые ответственные минуты моей жизни тянуло к родным могилам. Учась в институте, я выработал некий ритуал: в день сдачи экзамена посетить укрытую в тиши деревьев нашу семейную оградку. Постоять там несколько минут, поделиться сокровенным, а потом уже спешить в подгорную часть города, на экзамен в институтскую аудиторию. И когда требовалось решить что-то важное, шел опять туда же. Советовался, просил благословения. Не думаю, что это говорят во мне отголоски язычества или еще чего-то подобного, но долгие годы мой алтарь, где я свершал важное лишь для одного меня священнодействие, находился именно там. Пусть каждый истолкует это на свой лад. Кто-то примет, а кто и нет. У каждого свои священные места, зримые или вообразаемые. Но они должны быть, иначе... Да просто иначе и быть не может. Если ты человек...

НЕСПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ

Иртыш для нашего города был не только много веков главным кормильцем и средством передвижения, но еще и основным местом отдыха. В советские времена по его правому берегу раскинулись всяческие базы отдыха местных предприятий и несколько детских, как их тогда называли, «пионерских» лагерей. Стоит ли говорить, что даже какое-то подобие комфорта и обустроенности там отсутствовало начисто. Нет, к приезду высокого начальства территория приводилась в относительный порядок, детки строим под звуки горна и барабанную дробь выходила на линейки, устраивался концерт, и удовлетворенная комиссия, сытно пообедав, убывала в полной уверенности исполненного долга. Все огрехи списывались на лагерную приближенность к военнопольевым условиям, дескать, пусть детки вкусят в полной мере прелести сибирской природы с комарами и полчищами слепней, а потом сочтут за счастье, что вернулись домой живыми и здоровыми, надышавшись вволю чистого воздуха. Систему не переделаешь, и задним числом говорить сейчас о чем-то, что было и как оно могло бы быть, просто бесполезно.

Вряд ли и мне тогда могло прийти в голову что-то изменить, переделать, скорее наоборот, был безумно счастлив, оказавшись сразу после окончания института на пару месяцев в штате так называемого спортивного лагеря, раскинувшего свои нестройные палаточные шатры армейского образца на берегу могучей реки. Определили меня туда в качестве фотографа и звукотехника при регулярном трехразовом питании и почти полной занятости сколько-нибудь значимой работой. Да еще и в индивидуальной брезентовой палатке, стоящей на самом отшибе.

Я был полностью предоставлен самому себе: мог идти рыбачить, особенно, если выпадал метляк (мотылек, чьи личинки выползают из речного ила), на который тогда изумительно клевала стерлядь.

Там же перезнакомился с местными браконьерами, впрочем, таковыми не считавшимися, потому как у них была специальная бумага от рыбнадзора, разрешающая беспрепятственный отлов любой рыбы, начиная от ершей и чебаков, включая нельму и осетров якобы на нужды лагерных воспитанников. На самом же деле тот промысел был поставлен практически на промышленную основу, поскольку большая часть улова шла на приношения высокому местному начальству, которое от щедрот своих снабжало лагерь и бензином, и автотранспортом, и всяческими строительными материалами.

Лагерный директор с утра будил состоящих в штате на разных должностях сторожей и электриков, исполнявших негласно роль рыбаков и почти каждую ночь проводивших на реке со сплавными сетями. Он забирал у них добычу, садился в машину и отбывал в город. Нет, он не занимался торговлей рыбой ценных пород, а пускал ее в сложный оборот, умасливая сидящих в высоких кабинетах медиков, строителей, гаишников и всё во благо того самого лагеря, которым он заведовал. А потому буквально за несколько лет на месте брезентовых палаток были возведены блочные корпуса, столовая, баня, административное здание и все без малейших затрат со стороны министерства образования или иных, имеющих к тому прямое отношение ведомств. Причем без всяческих чертежей и планирования. Чисто по-русски, на глазок и по собственному разумению. Вряд ли сам начальник имел с этого хоть какую-то ощутимую выгоду, кроме неумного желания быть полноправным хозяином (причем неофициальным) всех этих сооружений, часть из которых была списана или где-то брошена. Был случай, когда со дна реки подняли целую затонувшую баржу с бетонными панелями. Все шло в дело.

Можно только удивляться и восхищаться умением и оборотистостью этого незаурядного человека, если бы строительство то велось на официальной основе. Но в том-то и дело, денег на возведение летнего лагеря не было ни у города, ни в области, а обратиться он в министерство, и дело с подписанием и согласованием различных бумаг, чертежей и проектов затянулось бы на столетия. Потому приходилось ему действовать подпольно. Такое было время...

Но пришли перестроечные времена, кто-то катанул на него телегу в соответствующие органы, грянула проверка, и директора поволокли на цугундер. Предъявить ему какую-то статью из уголовного кодекса, видимо, не смогли, а может, не захотели, поскольку за спиной его стояли сильные покровители. Но лагерь был лишен официального статуса, сторожей сняли, электричество отцепили, водопровод и отопление благополучно разморозили, все оборудование постепенно растащили, демонтировали и сами здания. На месте того полуофициального лагеря со временем возвели престижные дачи и коттеджи, и все труды энтузиаста-подпольщика пошли прахом.

Он сильно переживал по этому поводу, то ли за детей, что лишились возможности хоть на короткий срок выезжать на берег реки, вырвавшись из задавивших старый деревянный Тобольск многоэтажек, то ли

за потерю своего дорогого детища, в которое он вложил столько сил и надежд, будучи практически его собственником и хозяином.

Впрочем, его высокие покровители в скором будущем нашли ему очередное применение на поприще по борьбе с ценным сибирским рыбным поголовьем, опять же, как понимаю, не без своего сугубо личного интереса. Теперь уже на вполне официальном уровне и при солидном статусе, причем в совершенно иной отрасли, называть которую не считаю нужным.

И там он не ударил в грязь лицом, развернулся широко и с размахом, и хотя все горожане чуть ли не вслух обсуждали причины крутого поворота в его карьере, но предпочитали оставлять эти разговоры за порогом собственной квартиры, потому как и в столице остается еще множество почитателей свежей сибирской рыбки, дающей не только здоровье, но и могущество. В определенных кругах. Так что и волки сыты, и овцы целы.

А вот с рыбой хуже. Она в последнее время чуть ли не вся куда-то вдруг исчезла, и пришлось открывать целые фермерские хозяйства для ее выращивания. Но вряд ли ей это поможет, пока она будет в цене и одним из самых желанных подарков для людей власть имущих. Так что остается ждать, что случится раньше: или рыба в Сибири исчезнет полностью, или начальственные пристрастия в корне поменяются на какие-то заморские деликатесы.

Но что скрывать, и мне удалось в свои молодые годы урвать кусочек речного счастья, когда с восходом солнца можно было без спроса у спящего сторожа завести лагерную моторку, дать круг по зеркальной глади не проснувшейся еще реки, на полном ходу влететь в устье разлившегося иртышского притока малой речушки, лучащегося острыми световыми лучиками, прорезающимися через склоненные к воде покосившиеся стволы много чего повидавших на своем веку черных силуэтов стоящих по колено в воде, как заправские рыбаки, деревьев. И, одной рукой управлять мотором, а другой, чуть приобняв плечо спутницы в накиннутой на него влажной от росы брезентовой куртке, уноситься по речному тонкому извию вдаль от людских взглядов и забот, поднимаясь вверх по извилистой речушке, текущей через покрытые тучными травами луга, оставляя в полном недоумении стада ленивых коров и ни о чем не думая, мчаться, мчаться, мчаться, выделявая опасные виражи.

А навстречу нам из водной глади выскакивали тоже молодые мелкие, еще не подросшие рыбешки, а потому жившие пока беззаботно, как и мы, опьяненные безумным видом открывающихся пойменных лугов, где по низовой стороне брели, вспарывая грудью сочную траву, молодые кони, для которых еще не пришла пора подставлять голову под тяжелый хомут и впрягаться в ежедневное рабочее ярмо.

И если накануне моей кончины кто-то поинтересуется, чего бы я хотел более всего на свете, отвечу, не задумываясь: в последний разок проплыть ранним утром по той божественной протоке, где обретаешь неведомый и неповторимый восторг от этого Божественного мира, краше которого нет ничего на свете.

ДУХ ЕРМАКА

Преодолевая пространство, мы тем самым преодолеваем себя: собственную лень, привычный комфорт, боязнь непредвиденных ситуаций. Пускаясь в путь, никогда не знаешь, что тебя ждет, чем и когда твое даже самое краткое путешествие может закончиться. Но есть и такие, в ком страсть к путешествиям заложена с молоком матери. Так, коренное русское население сумело за пару веков освоить новую территорию за Уральскими горами, добраться до самой кромки евразийского континента и даже шагнуть за океан.

Подозреваю, что и во мне сокрыта та страсть первопроходничества, желание познать, что находится вокруг, кто там живет, чем занят, и унять, удовлетворить ее можно лишь одним способом – пустившись в дорогу. И вернуться напитанным чем-то новым, ранее не известным, а потому обогащенным вновь увиденным, пережитым, отчего невольно меняется твое представление о мире, людях и о самом себе. Способствовали тому мои еще детские поездки с дедом на телеге по соседним деревням, но это было когда-то давно и с годами выветрилось, почти стерлось в памяти. А когда мне перевалило за второй десяток годков, то с удивлением обнаружил, что далее городской окраины плохо представляю, где и что находится, и эта неопределенность, незнание сидело внутри словно заноза, не давало покоя и подмывало бросить все и отправиться странствовать, уподобившись былинным каликам переходим.

Как ни странно, но желания мои исполнились как бы сами собой. Все началось с поездок со студенческими группами в отдаленные колхозы, и рамки моих географических познаний постепенно раздвигались и ширились. К тому же во время месячного пребывания в сельской местности никто не мешал мне побродить с ружьем вдоль тихих речушек или в сумраке вековых лесов открывать для себя все новые и новые неизведанные ранее территории.

И во время одной из таких поездок мне опять же повезло встретиться с человеком, столь же обуреваемым страстью к познанию неизведанного и к тому же знающим в плане истории гораздо больше меня, человека еще неопытного, не читавшего сибирских летописей или иной специальной литературы. Звали его Вячеслав Фатеевич Пятиков, и, что самое интересное, визуально мы с ним были знакомы и ранее, поскольку он, будучи молодым преподавателем по астрономии, приехал к нам в институт, когда я уже учился на последнем курсе. Потому лекций или иных занятий он у нас не вел, и не случись той дорожной встречи, как знать, может быть, и жили дальше каждый своими интересами, не встречались, не делились бы общими планами и впечатлениями.

Наше общение началось с бурного обсуждения истории похода в Сибирь дружины Ермака. Мои сведения о легендарном атамане в тот период базировались в основном на материалах, почерпнутых от экскурсоводов нашего местного музея во время редкого посещения этого почтенного заведения. В этом вопросе Слава Пятиков имел более полные сведения, проштудировав ряд дореволюционных изданий на этот счет, в том числе и опубликованные «Сибирские летописи». С его слов

многие места из тех самых летописей вступали в противоречия со здравым смыслом, и он тут же выдал кучу вопросов, которые и меня привели в замешательство. Не буду сейчас упоминать о них, поскольку они требуют отдельного изложения и обсуждения.

Да, стоит упомянуть, что еще до встречи со Славой Пятиковым у меня состоялось знакомство с весьма интересным человеком, преподавателем МГУ, Геннадием Ивановичем Ереминым, возвращавшимся через Тобольск вместе с группой студентов после экспедиции в Заболотье (район в 70 км от Тобольска в западном направлении). Мы в это время с другом вели безуспешные попытки по очистке подземного хода, и Геннадий Иванович, проходя мимо, не преминул спуститься к нам в раскоп. Разговорились, и он пригласил вечером заглянуть к нему на огонек в институтское общежитие, где он остановился. Понятное дело, что я от такого предложения не отказался, посетил заезжего историка, и встречи наши продолжались каждый вечер вплоть до его отбытия в Москву.

Он был изумительным рассказчиком и любой исторический факт мог подать так, что он становился чуть ли не сказочным сюжетом, а потому слушал его, едва ли не открыв рот, и уже тогда «заразился» историей, связанной с походом Ермака, узнал о местах сражения при местечке Бабасаны, о чем упоминается далеко не во всех летописях; а еще о скрытой под землей оружейной мастерской хана Кучума на острове среди болот, носящем название «Алтын Кыр» (тат. Золотая земля), и еще много о чем.

Так он поведал мне и вовсе о фантастических вещах, с которыми столкнулся во время своей экспедиции в Заболотье. Якобы там до сих пор обитает тот самый «снежный человек», которого ищут ученые по всему миру, а вот для местных татар он существо вполне реальное, и они зовут его «бицен» (тат. лесной человек) и стараются с ним не встречаться. А еще там едва ли не каждый житель может рассказать про «албасты» (тат. летающий огонь), что вполне, на его взгляд, ассоциируется с инопланетными кораблями пришельцев из космоса. Так что уходил я от него уже за полночь весь переполненный легендами вперемежку с историческими реалиями, отчего голова шла кругом.

Правда, мой новый друг Слава отнесся к подобным рассказам московского ученого весьма скептически, но я был не в претензии. У каждого свой взгляд на вещи. Зато мы наметили целую серию поездок (у него был мотоцикл с коляской, самая подходящая вещь для коротких вылазок), и среди них перво-наперво – отыскать то место, где некогда находился Искер (Кашлык) – столица Сибирского ханства.

Это сейчас к легендарному Искеру ведет наезженная автомобильная дорога, а поблизости (почему-то в густом лесу) построена мусульманская мечеть, а вот в 70-е годы прошлого века даже музейные работники не имели представления о его местонахождении. Не знали об этом и жители деревни Преображенка, хотя, как выяснилось, он находился совсем рядом от деревенского кладбища. Пришлось нам действовать наобум, и лишь после нескольких неудачных попыток мы пробрались к обрыву, где можно было различить следы былых раскопок обилие на

речном склоне различных черепков и даже покрытых слоем ржавчины металлических предметов. Рядом был глубокий овраг, по которому текла речушка, названная Сибиркой. С холма открывалась удивительная панорама на левый берег Иртыш, а на реке виднелось несколько рыбацких лодок.

Удивившись, что столь памятное для сибирской истории место не имеет даже какой-то таблички или какого-то иного опознавательного знака, мы вернулись обратно. Потом уже я водил туда туристические студенческие группы, и ездили просто со знакомыми, которых интересует история края. В конце 90-х годов там велись почти месяц серьезные археологические раскопки, но это уже отдельная история. Мы же просто почувствовали себя первооткрывателями, а на большее и не претендовали.

Следующая наша поездка была в деревню Баишево, где, согласно летописи, был похоронен Ермак Тимофеевич. Почти на самом берегу Иртыша находилось татарское кладбище, а рядом располагался местный леспромхоз, и вплотную к кладбищенской ограде были свалены штабеля бревен, кучи гниющего опила, что никак не облагораживало место погребения усопших. Но на самом кладбище обнаружить что-то, связанное с личностью покорителя Сибири, так и не удалось. Местные жители в ответ на наши вопросы в недоумении пожимали плечами, так что мы уехали ни с чем. Была поездка на место его гибели в устье реки Вагай, и постепенно складывалась общая картина, связанная с именем этой незаурядной личности.

Потом я на несколько лет уехал в Волгоград, хотя не оставлял надежды рано или поздно вернуться к ермаковской тематике, тем более что в 1981 г. исполнялось ровно 400 лет походу казачьей дружины в Сибирь и хотелось как-то отметить эту знаменательную дату, оживить память о том важном событии. Время от времени мы созванивались со Славой, и как-то предложил ему пройти на байдарке по маршруту Ермака от Урала и до Тобольска. Слава, не раздумывая, согласился, и назначили дату встречи в Екатеринбурге. Байдарку мне одолжили знакомые туристы, правда, весила она не менее двадцати килограммов, а еще рюкзак, кинокамера, палатка и т.п. Но об этом думал тогда меньше всего, раз поднимаю, значит, не брошу.

Но на этом я не успокоился. Хотелось как-то донести до всех, кому этот вопрос интересен, о нашем мероприятии. А как это сделать? Лучше всего через телевидение. И недолго думая, во время одной из поездок в Москву отправился в телевизионный центр в Останкино и попросил вызвать ведущего программы «Клуб кинопутешествий» Юрия Сенкевича. Мне повезло, и известный всему миру ведущий спустился ко мне и даже внимательно, без раздражения выслушал мое предложение совершить с нами совместную вылазку на Урал, чтоб там обнаружить остатки следов похода ермаковской дружины. Потом он терпеливо мне объяснил, что вот так, по собственному хотению, он сделать это не может, поскольку является всего лишь ведущим программы. Мне же следует предварительно написать сценарий и подать заявку в редакцию. Если там ее утвердят и направят его вместе с нами, тогда другое дело...

Как же я был далек тогда от прохождения всех этих инстанций, а тем более не имел ни малейшего понятия, как эти самые сценарии пишутся. Потому поблагодарил его, извинился, что отнял время, и на этом мы распрощались. До сих пор удивляюсь своей смелости, граничащей с наглостью, сейчас уже вряд ли бы решился попросить о встрече с тем же Познером или, скажем, Ургантом. Да и они бы вряд ли стали беседовать со мной, но в те годы все казалось доступным и осуществимым.

Со Славой мы встретились на вокзале в Екатеринбурге где-то в середине лета и тут же отправились на электричку, идущую на Нижний Тагил, откуда и решили начинать наши поиски и искать нужную речку для сплава.

И тут нам повезло, поскольку во время поездки познакомились с парнем из Тагила, который, узнав о цели нашей поездки, тут же вызвался быть нашим проводником в пределах города. Мы переночевали в заводском общежитии, где у него была отдельная комнатка, поскольку он работал на одном из местных металлургических предприятий, и весь следующий день он ходил с нами по городу, помогая найти женщину-археолога, которая занималась раскопами места зимовки дружины Ермака. До этого мне совершенно случайно попала ее статья о проведенных раскопках, но адрес ее мне был неизвестен. Лишь фамилия, которую и то забыл за давностью лет. Самое интересное, что поиски наши, как ни странно, закончились успехом: мы нашли ту женщину. И от нее узнали, что раскопки, которыми она руководила, конкретных результатов не дали и заявлять со всей уверенностью, что казаки зимовали перед началом похода в Сибирь в Уральских горах, она не могла. Не было никаких артефактов, которые бы подтверждали это. На том и расстались... И потом убедились уже на месте, что вряд ли такая зимовка могла быть. Она никак не вписывалась во временные рамки, о которых сообщалось в летописях.

Наш новый знакомый проводил нас до выезда из города на север и помог остановить проходящий мимо лесовоз, который по нашим прикидкам шел в нужном нам направлении. Высадившись в глухом лесу, мы первую ночь провели в палатке, ломая головы, как бы нам выйти на те речки, названия которых указаны в летописях. Нужен был кто-то, кто знал местность, но где его взять?

На следующее утро мы побрели наугад, и тут нам опять повезло: мы наткнулись на передвижную пасаку, где возле ульев хлопотал занятый своим делом мужичок лет пятидесяти. Познакомились и с ним. Оказалось, что он родился и вырос в этих местах и помнит рассказы старожилов, которые указывали ему на останки почти сгнивших здоровенных лодок, что наверняка были ермаковскими стругами, которые казаки вынуждены были оставить из-за их крупных размеров.

Дело в том, что, начав поход с западной стороны отрогов Уральских гор, они вынуждены были часть больших судов бросить, поскольку не могли перетащить их через устроенный ими волок на восточную сторону гор. А там дальше уже начинались полноводные реки: Серебрянка, Чусовая, откуда они попали на Туру, и там уже прямая дорога во владения хана Кучума.

С помощью пасечника мы отыскали примерное место волока и пересохшую речушку Жаровлю, о которой упоминается все в тех же летописях, а потом, пройдя пешком еще несколько километров, спустили на воду байдарку.

Сплаваясь по реке Чусовой, текущей между каменистых горных отрогов, мы неожиданно наткнулись на непонятное сооружение, перегородившее реку. Мы поднялись наверх, где увидели стоящих у конвейера женщин, перебиравших поднимаемую со дна реки жидкую породу в поисках золотого песка. Нам объяснили, что само сооружение называют драгой. С его помощью размывалась прибрежная зона, жидкий грунт через насосы подавали на высокий помост, где работающие женщины выуживали из этого месива крупички золота. Руки у них по самый локоть были будто бы вымазаны золотистой краской. Самое интересное, что никакой охраны у них не было, и нам они разрешили посмотреть, как идет добыча золотоносного песка.

Но там мы задерживаться не стали и продолжились путь по нашему маршруту. Не буду в подробностях описывать, как проходило наше путешествие, но мы убедились, что при благоприятных условиях до Чевашского мыса (в настоящее время предместье заложено в 1587 г. Тобольска), где произошло генеральное сражение казачьей дружины с войском Кучума, можно спокойно доплыть за две недели.

Ни статьи, ни даже самой маленькой заметки в прессе о нашей экспедиции не было опубликовано. Нам это было не нужно. Своей цели мы достигли: нашли тот самый волок и примерный путь, которым прошли ермаковские казаки; убедились, за какой срок можно было доплыть до ставки Кучума. И это тогда было главным. Наши странствия позволили мне через много лет сесть за написания своего первого исторического романа «Кучум». Так шло накопление материала, когда все увиденное надолго врезалось в память и эти впечатления позволяли мне в дальнейшем описать события, произошедшие четыре века назад, с достаточной достоверностью, будто сам принимал в них участие.

Вскоре я вернулся в Тобольск, навсегда покинув Волгоград. Тобольск манил, притягивал прежде всего своим малоизученным историческим прошлым. И прежде всего это была личность Ермака. Но вот наши совместные походы и поездки со Славой Пятиковым на этом закончились. Он увлекся охотой, на выходные уезжал в деревню на той стороне Иртыша, где у него был свой дом, пустующий после смерти родителей его жены Валентины Павловны. Видимо, частые поездки на мотоцикле ослабили организм неутомимого поисковика и странника. К врачам он шел с большой неохотой, и незаметно подкралась неизлечимая болезнь. Славы не стало.

Но я не оставил своих странствий, вольно или косвенно связанных с изучением обычаев местного татарского населения, засел за специальную литературу, регулярно по несколько часов проводил в архиве, одним словом, все больше погружался в дебри науки, называемой историей.

Когда вышла книга Р.Г. Скрынникова «Сибирская экспедиция Ермака», тут же прочел ее, и у меня возникло множество вопросов, на которые в книге ответа не нашел. Недолго думая, собрался и поехал в

Питер. Там разыскал в университете Руслана Григорьевича Скрынникова, и мы несколько вечеров проговорили с ним на эти темы. Его тоже интересовала Сибирь, поскольку в наших краях он никогда не бывал и писал свой труд, пользуясь исключительно письменными источниками. И тут уже мне приходилось рассказывать о своих походах и впечатлениях. В результате у меня родилась собственная теория о причинах похода Ермака, но сумел сформировать ее много позже.

Так вышло, что первая полноценная рукопись у меня получилась в виде сценария художественного фильма, с чем смело отправился на «Мосфильм» в надежде, что мой сырой сценарий сможет там кого-то заинтересовать. Увы, страна была на грани распада, и великая киностудия доживала в прежнем своем виде последние месяцы, также найти режиссера, кто взялся бы за предложенную мной постановку, мне не удалось. Зато московские друзья свели меня с режиссерами Краснопольским и Усковым, у которых был уже утвержденный сценарий фильма «Ермак». Они дали мне прочесть его и... я взбунтовался, высказал им свое мнение на этот счет. Меня совершенно не устраивал их прямолинейный подход к этой личности. Но кто я был для них, уже снявших несколько сериалов. Неопытный дилетант, не более того. С тем и уехал...

Казалось бы, на этом можно и закончить рассказ о своих походах, поездках, многолетнем сборе материала. Сейчас, оглядываясь на те годы, вспоминая свою неуспокоенность в поисках, не перестаю удивляться, как у меня хватило сил не бросить начатые поиски и довести их до логического завершения.

Может, и вправду человек, рожденный в Сибири, переживший весьма непростые реалии того времени, имея за плечами столь весомое прошлое своих предков, способен выстоять в любых самых сложных ситуациях и не упасть, не прогнуться, пока в нем живет дух и дерзость славного атамана. Мы просто недооцениваем, сколь велика в том заслуга Ермака, ставшего для большинства сибиряков примером для подражания в стойкости и самопожертвовании. Не зря он давно стал символом страны Сибири, где и мне выпала удача появиться на свет.